

*РУССКИЙ ШАНСОН*

*Вячеслав*

**ДЕНИСОВ**



*Горят как розы бывшие раны*

# Вячеслав Юрьевич Денисов

## Горят как розы былые раны

*Текст предоставлен издательством*  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=599817](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=599817)  
*Горят как розы былые раны: Эксмо; М.; 2011*  
*ISBN 978-5-699-47880-4*

### **Аннотация**

Сотрудник секретного Комитета по розыску произведений искусства по прозвищу Голландец – крупный эксперт по живописи. Он занимается запутанным делом по поиску похищенной у частного коллекционера картины Винсента Ван Гога «Ирисы в вазе». Ходят слухи, что эта картина приносит ее обладателям несчастья – люди сходят с ума и погибают... Голландца начинают преследовать: сначала наемные убийцы, затем милиция, потом охранники коллекционера. Эксперт отражает все нападения, но не успевает спасти жизнь своей возлюбленной, которая погибает от рук уголовника. Больше нет смысла скрываться, и похититель картины срывает с себя маску...

# Содержание

ПРОЛОГ	4
Глава I	16
Глава II	34
Глава III	71
Конец ознакомительного фрагмента.	84

# Вячеслав Денисов

## Горят как розы былые раны

### ПРОЛОГ

Телега с трудом ползла по разбитой, расквашенной многодневными дождями проселочной дороге. Старая кобыла по имени Шельма со скрипом жевала стальные удила и упиралась из последних сил. То и дело она задирала коромыслом хвост и валила под телегу дымящиеся в холоде утра кругляши, словно прощалась с воспоминаниями о безмятежно проведенной у яслей ночи. Разношенные ступицы противно поскрипывали, левое заднее колесо выписывало в жиже фигуру, отдаленно напоминавшую восьмерку. Кривой след тут же засасывала грязь, колесо рисовало новый, телега то и дело подпрыгивала, переваливалась с боку на бок, и эта монотонная маета продолжалась уже пятый час.

– Не манерничай там. Взрослый уже, понимать должен, что против общей линии гнуть нельзя. Учителев слушайся, с погодками дружись. Скажут пол вымыть али еще какую полезную надобность сделать – не жульничай. Тряпка ума еще ни у кого не убавляла.

Так увещевал дед Аким мальчишку, сидевшего на подводе за его спиной. Увозил он его в город, в детский дом, имея в кармане затасканной телогрейки постановление из милиции и пятнадцать рублей. Надо же было так случиться, что везти пацана пришлось в самую слякоть. Сентябрь, моросило вторую неделю, земля – что мокрая перина, лошадь, как ни погоняй, быстрее не пойдет. «Дотянуть бы до Задольска с богом, а там у шурина и просушиться можно, и лошади корм задать, и выпить чуток», – думал Аким. Очень выпить хотел старик, но с тех пор, как пожар в Безреченке случился, не лезла проклятая в глотку. Оба родителя мальчика – дотла.

Чмокнув без особой необходимости, Аким встряхнул вожжи и посмотрел куда-то за спину, влево, адресуясь между тем к мальчишке:

– Слышь, что говорю?

– Слышу.

– «Слышу»! – недовольно передразнил он мальчишку. – А сам опять изрисовывать все начнешь? Смотри, ой, смотри! Там такие курбеты не проходят, в городе-то! Быстро мозги вправят. Выпорют, али еще чего.

Старик задумался. Интересно, порют нынче, на шестьдесят пятом году советской власти, или нет? В деревне, знал, порют. Но в городе?.. Это ж сколько ответственных работников нужно в детский дом набрать, чтобы такую ораву сечь? Тут с одним-двумя сладу нет, а там, поди, не один десяток...

– А пороть станут – не плачь. Скажи, мол, не повторится

более, осознал... Слышь?

– Слышу.

Аким поерзал на отполированной до блеска доске, прибитой поперек телеги для удобства езды. Уж скоро двадцатый год пойдет, как он конюхом в колхозе работает. Колеса на этой телеге поменяно – пальцев на руках не хватит, чтобы счесть, а доска – ничего, дюжит. Доска – существо бездушное, прочное. Другое дело – человек. Когда у парня нет родителей, то нужно кому-то за него беспокоиться. Хоть два часа в сутки, а нужно. И Аким беспокоился изо всех сил.

Мальчишка шмыгнул носом.

– Ничего, чаем горячим в Задольске отпоят, насморк и пропадет. Это не страшно – насморк. – Аким вынул из кармана папиросы и глубокомысленно, задрав глаза до тяжело-го неба, добавил: – С соплями, паря, жить можно. А вот без соплей еще ни один не обошелся.

Тяжелые кроны деревьев по обе стороны раскисшей дороги изредка вздрагивали, ссылая с себя мириады брызг. И тогда мальчишке они казались огромными дремлющими собаками, просыпающимися для того только, чтобы отряхнуться. Он не слышал, как влага опускается с неба на землю, на листья берез и лапы елей, на круп изнурившейся кобылы, – вода, как пыль, садилась бесшумно и бесконечно. Но видел мальчишка, как раскрашивает она привычные взгляду предметы в цвета новые, яркие. Лоснящаяся спина лошади, сочащиеся зеленым соком еловые ветви – все было словно зали-

то разноцветными красками, оживляющими унылый, серый, почти однотонный в своем сентябрьском застое пейзаж. И верил мальчишка, что вода оттуда, сверху – это не прозрачная жидкость, которую люди привыкли пить, а бесконечно длинный набор красок. Так думал он всякий раз, когда шел дождь. Но вот выглядывало солнце, сушило как будто нарисованные на стенах изб окна, и всего-то нескольких часов хватало, чтобы поверх красок легла пыль. И тогда мальчишка снова ждал дождя.

Люди перед телегой появились неожиданно. Вот только что дорога была совершенно пуста и очередным завитком поворота собиралась уйти в сторону, как вдруг прямо посреди нее возникли трое. Один из них принял захрапевшую лошадь под уздцы.

– Кто такие? – прикрикнул Аким, пережевывая во рту раскисший от слюны и дождя мундштук папиросы. Появление как из-под земли неизвестных вызвало переполох в его душе, и старик, чтобы не выдать смятения, поправил на голове фуражку с выцветшим околышем. – А ну, в сторону от кобылы!..

– Тише, дядя, тише, – проговорил тот, что держал узду в крепком кулаке. – Что ты как ошпаренный голосишь? Людей не видал?

– Людей видал, – заверил старик, – но нынче все добрые люди по домам сидят и без особой нужды по лесу не шастают... Эй, ты что там делаешь?..

Двое обошли телегу и с двух сторон принялись ворошить в ней сено. Невысокий, кисло пахнувший, видимо, давно не мывшийся мужчина с бесцветной, клочками вылезшей на дряблое лицо щетиной, деловито развязывал мальчишеский мешок.

– Положь, положь на место! – вскипел Аким, видя, как один из чужаков вынимает из мешка икону в серебряном окладе.

– Глянь, Курок... Дорогая небось? – крутя в руках лик Пресвятой Богородицы, пробормотал небритый. – Старая. Если ценителя найти, хорошо выручить можно.

Осознав, что никому, кроме него, и дела нет до мальчишеского скарба, Аким вскочил в телеге на ноги, коротко взмахнул рукой и сверху, с оттяжкой, перетянул наглеца вдоль спины намокшим кнутом.

– Положь!.. Это все, что есть у ребенка, сволочь!..

Сочный звук удара и последующий за ним рев небритого заставил мальчишку завалиться на спину и отползти в угол, туда, где сходились обструганные, почерневшие от старости слезы. Оттуда он со страхом наблюдал, как эти трое стащили старика Акима с телеги и, деловито сопя, стали избивать ногами. На сене, кучей наваленном на телеге, лежала икона, и Богородица, не моргая, смотрела на него пристальным, усталым взглядом.

– Православные... – доносилось до мальчишки. – Что ж вы... Как же можно... Дитя же смотрит...

Мальчишка видел, как за слегу схватилась чья-то окровавленная рука. Он не сразу увидел отсутствие большого пальца. Акиму лет тридцать назад раздробило его мялкой. Приглядевшись, мальчик узнал эту культю и заплакал. Потом рука сорвалась, и из-под колеса раздался звук, очень похожий на храп проснувшейся лошади.

Один из мужчин – мальчик узнал того, небритого, – вернулся к телеге и, то и дело поднимая ногу, стал резко опускать ее вниз, как если бы вбивал пяткой гвоздь в землю. После каждого удара мальчишка слышал хрипы. Аким уже не мог говорить, он лишь издавал звуки, которые пацан от него никогда раньше не слышал.

– Голосистый, падаль... – озлобленно пробормотал третий и сунул руку за голенище сапога. Мальчишка увидел блеснувшее, мгновенно покрывшееся водной пылью лезвие.

«Есть краски, красящие железо в зеркало...» – подумал мальчишка и застонал. Ему хотелось плакать от страха, но боязнь привлечь к себе внимание была сильнее. Он видел, как человек с ножом склонился над Акимом и стал совершать какие-то резкие движения, отчего его обтянутая парусиной спина двигалась из стороны в сторону.

Когда он выпрямился, мальчишка не выдержал и закричал. В голове его зашумело, и к горлу подкатился ком. Ему не так страшно было смотреть на кусок мяса, зажатый в руке мужчины, как на смеющиеся глаза взрослого человека.

– Хватит играть, – сильным голосом приказал тот, что

брал лошадь под уздцы, и зашелся в долгом, трескучем кашле. – Берите шмотки, икону и уходим... Поднимите его!..

Мальчишка видел, как двое подняли Акима. Он не узнал старика. Вместо лица у него блестела политая с неба красным мешанина, изо рта ручьем текла густая черная кровь.

Вцепившись в слегу, которой оканчивался борт телеги, мальчишка протяжно завыл.

Старший, беспрестанно кашляя и сплевывая, разорвал на груди Акима телогрейку и убедился, что на внутренней стороне ее есть карманы. Деньги – пятнадцать рублей, которые были переданы Акиму в милиции для вручения директору детского дома, он сунул в карман. Бумагу развернул, прочел. Потом скомкал и бросил в телегу.

– Ну, стало быть, и плакать по тебе некому, бродяга...

Небритый закинул мешок мальчишки с продуктами за спину.

– Ну?! – изумился старший тому, что дело затягивается.

Третий сунул руку за спину, за ремень, и вынул топор. Размахнувшись, он обухом ударил Акима в лоб. Мальчишка видел, как голова старика разошлась по черепным швам и сквозь образовавшиеся щели сначала брызнула, а потом полилась красная краска...

Лошадь заржала, дернулась и, играя мышцами, подалась назад. Лиловые глаза вращались, оголяя белоснежную девственность яблок. Задрав верхнюю губу, кобыла ржала, с чавканьем вбивала копыта в месиво дороги, пятила телегу...

– Чу, падаль!.. – И старший снова схватился за ремни удил.

Кобыла поволокла назад, как куклу, и его. И тогда мужчина, кашляя и пуча глаза, повис на ремнях. Мальчишка смотрел, как с губ лошади и человека валится густая пена...

– Разболтает, поди... – услышал он как будто издалека дошедший голос.

– Чтоб ты сдох, Курок, это же щенок!..

– А к стене по воле этого щенка и по приговору именем Союза Советских Социалистических встать не хочешь, гад?! – услышал мальчишка свистящий кашель старшего.

Внезапно хлынул дождь. Настоящий, сильный, звучный. Он ударил в лицо мальчишке, смыл слезы и задержал на мгновение того, с топором.

Быстро стерев с лица воду, мальчишка вскочил на ноги и прыгнул с телеги. Чтобы не поскользнуться, он ухватился рукой за одну из слег. И тут же почувствовал, как она хрястнула и дрогнула. Вместе с ней дрогнула и рука.

Боль мальчишка почувствовал потом. Дав стрекача вдоль дороги, он сначала ощутил, как налилась тяжестью рука. На бегу он бросил взгляд на кисть и страшно закричал. На правой руке у него не хватало указательного пальца. Лезвие топора отсекло его, врезавшись в слегу. Мгновение, отнявшее у мальчишки палец, спасло ему жизнь...

Ужас сплел его ноги, мальчишка рухнул в грязь. Разлетевшись, как жидкое повидло, она притянула его к дороге.

Но нужно было вставать. Кровь била тонкой цевкой, от тошноты кружилась голова, но мальчишка, видя, как мужчина топорищем, как рычагом, выламывает из треснувшей слегли окровавленное лезвие, поднялся на ноги. Грязь не хотела его отпускать, и когда он оторвал спину от дороги, сзади раздалось громкое, отвратительное чмоканье. Прижав руку к груди, мальчишка припустил дальше. Он не прекращал кричать, но не слышал своего голоса. Зато ясно различил крик того, что схватил лошадь под уздцы. Своим хриплым сдавленным голосом он заорал что было сил тому, с топором.

– Не догонишь – задавлю, гад!..

Это придало сил. Поскользнувшись и упав, он вскочил в тот момент, когда услышал над своей головой тяжелое дыхание. Он уже чувствовал заскорузлые пальцы на своей шее, когда неведомая сила швырнула его в сторону и, дав устоять, понесла вдоль кромки леса.

– Убей его!..

Грязь липла к сапогам смолой, и с каждым новым шагом к ногам прирастало по килограмму. Сзади слышались плюхающие шаги и тяжелое, почти надсадное дыхание.

Резко свернув с дороги, мальчишка кубарем скатился в кювет. Размоченная дождем сухая трава путала ноги, липла к лицу... А сзади его догоняли. Взыв, мальчишка вырвался из травяного плена и ворвался в лес, как в кинозал, в котором шел фильм. Сонм звуков и запахов задержал его ход. Но только на мгновение. Тяжелый лапник бил по лицу, вет-

ви берез секли руки, но он не останавливался. Мальчишка кричал изо всех сил, но слышал только свист своих легких.

Он бежал до тех пор, пока не зацепился ногой за полустлевший ствол поваленного дерева. Выбив из его нутра облачко коричневой пыли, мальчонка рухнул наземь. Сапог слетел с ноги и затерялся в зарослях. От удара грудью пацан задохнулся и потерял сознание.

Мальчишке, которому через полгода дадут прозвище Голландец, шел девятый год.

\* \* \*

«Здравствуйте. Меня зовут Голландец. Не спрашивайте, почему. Я все расскажу, всему свое время. А время нельзя торопить, под него нужно подстраивать свою жизнь. Как только начинаешь делать наоборот, все переворачивается с ног на голову. Это знают все, кто работает в Комитете по розыску исчезнувших произведений искусства. Сокращенно – КРИП. Нас в Комитете двенадцать человек, но о том, что мы существуем, знают только президент страны и несколько человек из правительства. Мы не имеем имен, кроме тех, под которыми знаем друг друга. Свою фамилию я вспоминаю только тогда, когда вынимаю водительское удостоверение или паспорт. Но люди, чьи снимки украшают эти документы, уже давно не существуют. Мальчик, чьи родители погибли при пожаре, перестал существовать, когда стал частью

КРИП. Я нахожусь в его теле лишь для того, чтобы скрыть свою настоящую жизнь.

Я и мои коллеги ищем культурные ценности. Украденные, пропавшие без вести или существование которых лишь предполагается. В некотором смысле мы очень похожи на то, что ищем. Разница лишь в том, что мы находим, а нас не найдет никто и никогда. Как только кто-то из нас при исполнении своей уникальной роли допускает ошибку, мы встречаем в КРИП нового сотрудника. Куда исчезает прежний – не знает никто.

Хотел бы я сказать, что похож на своих коллег, но тогда погрешил бы против истины. Мне не стыдно солгать, не в этом дело. Лгу я всегда и везде. Каждую минуту. Ложь – единственное условие моего спасения. И я не преувеличиваю, говоря о спасении. Моя жизнь безоблачна и прекрасна только тогда, когда я лгу. Как только начну говорить правду, жизнь моя тут же закончится. Я не хотел бы, чтобы эти слова воспринимались как метафора. Уж коль вы здесь, я хочу, я прошу вас воспринимать буквально все то, о чем говорю. Сейчас лгать не имеет смысла, потому что никто из вас не сможет причинить мне зла. Мое прошлое и настоящее постепенно будет проявляться перед вашими глазами, и когда вы будете шаг за шагом узнавать что-то о моей жизни, помните каждую минуту, каждое мгновение: я – лучший из сотрудников КРИП. Но не только в этом мое отличие от них. Я сплю меньше, чем они, двигаюсь больше, чем они, и ду-

маю больше, чем они. Вынужден жить именно так, потому что как только позволю себе расслабиться – я погибну. А это значит, что погибнет главный смысл моей жизни.

Произведения искусства, причиняющие людям страдания, должны быть убиты. Надеюсь, это вы тоже воспримете буквально. Это не входит в задачи КРИП, это им даже противоречит. Но это вписано в программное обеспечение моего сознания.

Нельзя из одной жизни уйти в другую, не оставив следов в прошлой. Но лучше бы помнящим меня другим людям не светиться солнечной улыбкой при встрече. И уж чего им точно не следует делать, так это обнимать меня на глазах десятков свидетелей.

Потому что тот, кто меня узнает, недолго живет.

Простите, не сказал вам главного. Я убиваю не только произведения искусства.

Единственное, что оставляю здесь с сожалением, – Соня. Кажется, она любит меня. А люблю ли ее я? Не знаю.

Я не припомню, чтобы кого-то любил больше, чем Джоконду. Но когда-нибудь я убью и ее.

# Глава I

Он сидел на скамейке напротив Большого театра, закинув ногу на ногу и запрокинув голову. Глаза он прикрыл, но на лице не было и следа той глуповатой задумчивости, которой подвержены люди, слушающие через наушники музыку. Со стороны Малого, присев рядом с куда более задумчивым Островским, за меломаном наблюдали двое – невысокого роста блондин, чьи руки были небрежно засунуты в карманы брюк, так что полы пиджака топорщились, и второй, в похожем костюме, только, в отличие от своего спутника, не в черном, а в сером, хотя тоже от Бриони. Он прижал к переносице крошечный бинокль. В окуляры хорошо было видно, как мужчина на лавочке осторожно, словно боясь помешать музыке, которую слушал, встряхнул руками и положил их на спинку скамейки.

– Это точно он? – с глубоким сомнением уточнил тот, что был без бинокля. В свои тридцать пять или тридцать семь – заглянуть в его прошлое поглубже мешали черные очки, он меньше всего походил на человека, обладавшего какой-либо серьезной специальностью.

– Нас предупреждали, – напомнил второй.

– Послушайте, он сидит напротив Большого и сосет чупа-чупс. Невероятно!

– А что, он должен сидеть напротив чупа-чупса и сосать

Большой?

– Ерунда какая-то... Судя по информации, он неплохо зарабатывает. Если это правда, черт возьми, тогда он надел бы на себя что-нибудь более подходящее. А парень пришел на встречу с клиентом в джинсах и застиранной рубаше. Такой тип даже на пляже в Анталье вызовет желание кинуть ему пару юаней.

Второй опустил бинокль и сунул его в карман.

– Я вижу мужчину тридцати пяти – тридцати семи лет, с волосами средней длины, шатена, среднего телосложения, на правой руке которого не хватает указательного пальца. И мужчина этот имеет вид живущего без определенной цели человека. Все совпадает.

Через минуту они стояли напротив лавочки. Мужчина продолжал сосать леденец и с закрытыми глазами слушать музыку. В какой-то момент подошедшие загородили ему свет. Мелькнувшей по его лицу тени оказалось достаточно, чтобы он открыл глаза. Торчащая изо рта белая пластмассовая трубочка замерла. Некоторое время он продолжал сидеть, не меняя позы. И лишь глаза его, внимательные, цепкие, тщательно ощупывали лица стоящих перед ним людей.

– Здравствуйте, – сказал тот, карман пиджака которого оттягивал бинокль.

Мужчина вынул из ушей крошечные наушники. Из них тотчас полился голос ничего не подозревающей Барбары Фритолли.

– «Травиата», – вежливо констатировал владелец серого костюма.

– Здравствуйте, – повторил его спутник.

Мужчина подумал, ухватился за трубочку и вынул конфету. Блестящий оранжевый шар на конце блеснул в лучах полуденного солнца. Мужчина облизал губы и кивнул.

– Вы Голландец?

Мужчина снова подумал.

– Что вам нужно?

– Вы – Голландец? – решил быть настойчивым хозяин биннокля.

– Лучше скажите, что вам нужно.

Тот, что был в сером костюме, поджал губы и усмехнулся.

– У нас здесь назначена встреча с человеком по имени Голландец, – старший дуэта решил быть терпеливым. – Ровно в двенадцать часов. Если вы Голландец, то встреча состоялась. Если нет, тогда какого черта у вас, как и у него, не хватает пальца на правой руке?

– Я Голландец, и именно здесь, как мне сказали, ко мне должны подойти два человека. Еще мне сказали, что в тридцатиградусную жару они будут одеты, как Винокур и Лещенко.

Те переглянулись.

– Мы от Евгения Борисовича, – сказал второй.

– Значит, встреча состоялась, – сказал мужчина в «гавайке» и сунул чупа-чупс в рот.

– Машина ждет, – сообщил первый.

– Это хорошо. Потому что я неуютно чувствую себя в толпе и ненавижу метро.

Они пересекли площадь и на Петровке подошли к припаркованному черному «Мерседесу-G500».

– Простите, но я должен это сделать, – предупредил один из новых знакомых и, сильно прижимая ладони к телу Голландца, тщательно его обыскал. По тому, как производился досмотр, Голландец понял, что его новые знакомые ищут не оружие – было и так очевидно, что его нет, а аппаратуру для записи.

– Там еще водитель, – предупредил мужчина в сером костюме. – Итого нас будет аж четверо. Это не вызовет у вас приступа охлофобии?

Ничего не ответив, мужчина с чупа-чупсом во рту забрался в салон на заднее сиденье. Рядом с ним сел первый. Второй уселся на переднее сиденье. Ответа на шутку по поводу охлофобии он не получил, и это его огорчило. Едва машина тронулась, он развернулся так, словно собирался провести в беседе остаток жизни.

– Наверное, это ваша любимая рубашка?

– Нет. Любимая в стирке.

– Ее вы, вероятно, стираете еще чаще, чем эту?

Несколько минут они ехали молча.

– Как вы можете ходить по городу в рубашке со стеклянными пуговицами и с торчащей трубочкой изо рта?

– А я не понимаю, почему вы не ходите в рубашках со стеклянными пуговицами и с торчащими трубочками.

– Вы очень не похожи на специалиста по кражам картин, – заговорил первый. Лет ему было далеко за сорок, но пятидесятилетнего юбилея еще предстояло подождать. Короткая бесцветная, слегка тронутая сединой стрижка, бесцветные брови и ресницы – такого не сразу обнаружишь в толпе из десяти человек и вряд ли с ходу запомнишь. Разве что внимательные глаза противоречили облику человека-невидимки. Но он, кажется, обладал способностью прятать и взгляд. Тонкие губы, лягушачьи лапки морщин под глазами. Совершенно ничем не выдающаяся личность.

– А что вас удивляет? – Беспальный двинул челюстями, раздался хруст леденца, и второй раздраженно поморщился. – Было бы странно, если бы я был похож на специалиста по кражам картин. Ведь я специалист по их розыску.

Губы мужчины в черном костюме тронула усмешка.

– Признаться, вы и на него не очень похожи.

– Когда все похожие на специалистов оказываются в дураках, обычно зовут меня.

– И вы обычно утешаете печали коллекционеров? – кивнул второй, с интересом разглядывая беспального.

– Не всегда.

– Отчего же? Ведь вы так не похожи на неудачника, – и он повел плечами. Это была шутка.

– Есть воры, поймать которых невозможно.

– И вы знаете таких?

– Разумеется, – обсосав трубочку чупа-чупса, беспальный опустил стекло и выбросил ее в окно.

– Почему же не ловите?

– Я не похож на специалиста по кражам картин. Я не похож на специалиста по розыску картин. А на опера из МУРа я похож?

Минут пять в машине висела тишина. Видимо, и на опера из МУРа странный человек похож не был. Он вообще ни на кого не был похож. Вынув из кармана что-то, он захрустел оберткой. Дрогнув, мужчина на переднем сиденье резко обернулся и с ужасом стал наблюдать за тем, как беспальный разворачивает чупа-чупс.

Евгением Борисовичем оказался молодой человек двадцати пяти – двадцати семи лет. Впрочем, Голландец вынужден был признать, что вчера, разговаривая по телефону с этим представителем «золотой молодежи» и определяя его возраст, он ошибся. Голос Евгения Борисовича был значительно моложе его самого. И вот теперь, разглядывая его и пожимая протянутую руку, Голландец без труда прочитал во взгляде своего работодателя огорчение, почти скорбь. Тусклые, со слабым просветом надежды серые глаза смотрели пощеничьи робко, в них причудливым образом смешивались и разочарование гостем, и уверение в том, что хозяин дома готов исполнить любое желание Голландца, если тот окажется

полезен. В успешности Евгения Борисовича сомневаться было как-то излишне. Если только молодого человека не силой затолкали в этот двадцатимиллионный особняк и не силой же заставили коллекционировать полотна импрессионистов.

Пальцы у него были тонкие, как у скрипача.

От кофе Голландец вежливо, но твердо отказался. Чтобы не обижать хозяина, остановился на крепком черном чае.

– У меня превосходный турецкий кофе, – сделал попытку настоять на своем Евгений Борисович. – Я готовлю его своим друзьям лично.

Голландец уселся в глубокое кресло в каминном зале, который располагался на первом этаже. Потрогал руками массивные подлокотники.

– Я не разбираюсь в кофе, – ощупывая взглядом стены, ответил он. – Так зачем вас разочаровывать? Вы будете ждать от меня восхищения, а я не смогу вас похвалить.

– Это ваш принципиальный подход ко всему или только к кофе?

– Ко всему.

Хозяин дома успокоился.

– Мне вас рекомендовали как...

– Я знаю.

– Что вы знаете?

– Что вам меня рекомендовали. Как специалиста. Давайте экономить время.

Евгений Борисович на мгновение застыл на месте, потом

лицо его порозовело и он улыбнулся. Знающие его люди сказали бы, что Евгений Борисович обнаружил в собеседнике ценность, которую считал в людях главной, – отвращение к долгим разговорам.

– Тогда начнем. С чая.

Женщина лет сорока, со следами совсем недавно утраченной красоты, внесла поднос с дымящимися чашками, сахарницей и еще какими-то, не вызвавшими у Голландца интереса, сосудами. На всем, даже на лицах прислуги, присутствовала какая-то тихая грусть. Голландец не сказал бы, что причиной тому является исчезнувшее полотно, о котором ни вчера, ни сегодня не было сказано еще ни слова, но во всем чувствовалась старомодная, отдававшая нафталином, почти книжная печаль. Видимо, и прислуга, и атмосфера дома напрямую зависели от настроения хозяина, так уж повелось. А настроение у Евгения Борисовича, Голландец обнаружил это сразу, пожав его приветливую, но вялую руку, которая тоже, по всей видимости, носила признаки общего настроения, было скверное. Справедливости ради нужно было заметить, что, несмотря на недостаточно зрелый возраст, Евгений Борисович держать себя умел и не позволял личным переживаниям мешать предстоящему делу. Чувства хранить не умел, он невольно выдавал их, но не позволял им мешать делу.

Голландец освоился в незнакомой обстановке быстро. Не осторожничая, что свойственно оказавшимся в роскошных

домах гостям, он с выразительным пристрастием рассматривал интерьер. Но столик стоял посреди огромной залы, и рассмотреть что-то толком, полностью удовлетворив свое любопытство, было невозможно. Решив не доводить молчание до неприличия, Голландец поднялся и направился к стене.

За исключением того места в комнате, где гранитным изваянием выпирал из общей картины классицизма камин-барокко, все свободное пространство стен занимали картины. Хозяин дома не без интереса наблюдал за каждым движением гостя. Вот Голландец неожиданно шагнул вперед, к стене, и почти уткнулся в полотно. Потом, выпрямившись и потирая руки, словно намыливая, заскользил взглядом по нескольким картинам сразу. Потом снова возник неподдельный интерес к очередному полотну, и – стойка как у легавой.

– Ваш кофе остынет.

– У меня чай, – не раздумывая, ответил Голландец.

– Странно, мне почудилось, что вы не думаете сейчас ни о чем, кроме этих картин.

– Я и о них не думаю.

– Они вам не нравятся? – попытался удивиться Евгений Борисович.

– Отчего же. Замечательные полотна стоимостью в тридцать-сорок тысяч.

– Здесь шестьдесят две картины. Полагаете, эта зала стоит около двух миллионов двухсот тысяч долларов?

Отвернувшись от стены, Голландец с уже отсутствием ка-

кого-либо интереса вернулся к столику. Глотнул чая и уселся с чашкой в кресло.

– Кто сказал – долларов? Все это богатство стоит около двух миллионов рублей. Только чтобы выручить эти деньги, вам придется попотеть. Германовых и Зулябиных в Москве сейчас пруд пруди. Я бы рекомендовал вам сдать все это оптом за полмиллиона. В художественной лавке Мориловых у вас возьмут. С перспективой реализовать эти вещи в течение года. – Голландец поставил чашку на стол и вынул из кармана платок.

С хозяином начали происходить еле заметные перемены. В момент появления в его доме Голландца он почти усомнился в том, что вчера именно с ним разговаривал по телефону. Очень уж мало было в этом весьма вольно распоряжающемся своей внешностью человеке того внутреннего мотива, напевая который можно было перенестись в мир искусства. Но сейчас он убеждался, что данные ему характеристики принимают достоверные очертания. Надо же, за две минуты вычислил Германова и стоимость определил почти «в цвет». Ошибся только в том, что как раз за полмиллиона рублей Евгений Борисович эти полотна и купил. И как раз в лавке Морилова. Нужно было придать зале цвет, и он через Морилова вывез из мастерской Германова и Зулябина шестьдесят одну картину.

– Мне говорили, что помимо предвидения и художественного нюха вы обладаете еще и даром эксперта.

– Художественный нюх, – повторил Голландец, и в глазах его блеснули искорки. – Кто-то сильно преувеличил мои возможности. Поверьте, недостатков во мне куда больше. Впрочем, как вам угодно. Я же за деньги работаю, поэтому – как вам угодно.

– Я бы не хотел, чтобы недостатки эти возобладали над вашими достоинствами, Голландец, потому что дело, о котором мы сейчас заговорим, не терпит ошибок.

– Тогда, быть может, сразу и быка за рога? Потому что я и чай, признаться, не люблю. Предпочитаю свежесжатые соки и простую воду.

– Вы правы. К делу. Вы курите?

– Нет. Это вредно для здоровья. Но терпим к курящим. Так что если вы хотите в моем присутствии убить пяток минут жизни, извольте, – и Голландец улыбнулся. – Так в чем же суть дела?

– Что вы знаете о Ван Гоге?

– Все.

Евгений Борисович растерянно наблюдал за тем, как Голландец, вынув из кармана чупа-чупс, стал сдирать с него ярко-красную обертку.

– Не слишком ли самонадеянно отвечено? – тихо полюбопытствовал он.

– Как спрошено, так и отвечено. – Голландец сунул леденец в рот и поднял глаза на хозяина дома. Пытаясь понять, какие чувства он вызвал своим ответом, он не находил ни-

чего, кроме озабоченности тем, как бы Голландец не подумал, что Евгений Борисович ему верит. Человек, живущий в особняке за двадцать миллионов долларов, на работе своей, приносящей ему доход, выглядит, конечно, иначе. Скорее всего, подумал Голландец, этот мальчик – деспот. Только что расцветший бутон цветка помидора, рядом с которым загибается вся растительность вокруг. Помидор подминает под себя все цветущее, позволяя лишь развешивать рядом бледные худосочные листья. Вот и складочка вертикальная меж бровей пролегла. На работе она напряжена, и в приемную его заходят, не в силах избавиться от непреодолимого желания оттуда побыстрее выйти. Но здесь, дома, оказавшись перед лицом неизбежности, которую не задавишь юной, разглаживающейся от удивления складкой на лице, он выглядит иначе. Как и положено молодому человеку, прожившему четверть века. Мальчик, безусловно, умен, но беззащитен.

– Послушайте, поскольку алгоритм нашего разговора затягивается, – подумав, куда девать чупа-чупс, Голландец положил его на блюдце, – вы сейчас предпринимаете попытки меня заинтриговать. Подвести к теме способом, который устарел в годы моей юности. – Голландец встал и снова направился к западной стене. – Что я знаю о Ван Гогге, спросили вы? Я ответил – все. Это значит, что я знаю все его известные искусствоведам картины. Естественно, если какое-то из полотен до сих пор находится где-нибудь в курятнике, что в свое время случилось с «Портретом доктора Рея», то она

неизвестна экспертам. Получается, что неизвестна и мне. Вчера вы сказали, что речь идет о картине. Сейчас спросили о Ван Гоге. Стало быть, тема нашего разговора – неизвестная картина Ван Винсента, которую у вас похитили... Вот это не Германов, – Голландец пощелкал пальцем по раме одной из картин. В зале раздался вульгарный стук ногтя по лакированному дереву. – И не Зулябин. Это жалкая попытка имитировать Ван Гога кем-то из мне неизвестных. А я-то все думал, что меня раздражает на этой стене? Можете подарить ее какой-нибудь воинской части. Но только, упаси боже, не детскому саду. Нации нужны здоровые дети.

– Это я писал.

Голландец с улыбкой развернулся.

– Думаете, начну извиняться?

– Не думаю.

– Правильно делаете. Каждый должен заниматься своим делом. Пусть картины пишет Германов, если уж другим образом заработать себе на хлеб не может. Но вернемся к Ван Гогу. – Голландец занял выжидательную позу.

Еще усаживаясь, он исподлобья бросил взгляд на Евгения Борисовича. Убедившись, что попутные темы, как то: чай, курение – исчерпаны, он скрестил руки на груди и, уже не стесняясь, вперил пронзительный взгляд в хозяина дома.

– Видимо, мне нужно начать с самого начала, господин... Голландец. – Евгению Борисовичу было рекомендовано обращаться к гостю так, и он сейчас чувствовал себя неловко от

необходимости выполнять это правило. Выглядело все как-то забавно, несерьезно.

Напольные часы в углу залы начали бить. Издаваемый двухсотлетним хронометром звук немногим отличался от перезвона любого благовеста Московской области. Слава богу, подумал Голландец, не меняя выражения лица, что сейчас всего лишь два. Но когда часы ударили в третий раз, он понял, что стучать им еще девять. Это пошло на пользу разговору. Евгений Борисович чуть обмяк, выжидая, и успокоился.

– В сорок пятом году прошлого века моего деда, возвращавшегося из Берлина, занесло во Францию. По неинтересным нам сейчас причинам он там сначала задержался, а потом остался. Потому что возвращаться было глупо... Там он встретил любовь, женился и осел, пустил корни. У него была мастерская по изготовлению мебели. В шестидесятом родился мой отец. Он почти не говорит по-русски, продолжает во Франции дело деда. Но в России у деда осталась жена...

– Ты посмотри, – ухмыльнулся Голландец, – какой неожиданный курбет. Действительно, возвращаться деду было глупо.

– Не иронизируйте, – Евгений Борисович нахмурился. – Война тогда поломала много судеб...

– Но не вашего деда, – отчего-то заупрямился Голландец. – Впрочем, простите, я вас слушаю.

Молодой человек кашлянул, потер ладонью о ладонь и,

глядя в пол, снова заговорил:

– Не знаю, совесть растревоженная тому причиной была или размолвка с женой-француженкой, которая, как и муниципалитет Марселя, даже не догадывалась о браке деда в СССР, да только в один прекрасный момент он оказался в Союзе.

– А что же его французская жена?

– Еще до отъезда деда ей сильно нездоровилось и она слегла в больницу.

– Какую больницу?

– Не знаю, что-то с почками. А дед вернулся в Союз. С собой он привез меня и большую сумку вещей.

– Он вас выкрал?

– Совершенно верно, – Евгений Борисович кивнул. – В три года от роду я оказался с ветреным дедом в стране, где у нас не было ни жилья, ни средств к существованию.

– Вы сказали – ветреным дедом?

– Разве человек серьезный поедет в конце восьмидесятых в СССР, да еще с трехлетним внуком на руках?

– Дальше, – попросил Голландец.

– Но он вернулся не просто в СССР, из которого сорок лет назад бежал. Он вернулся к бабушке.

– Так...

– И с восемьдесят восьмого года до минувшего понедельника они жили вместе.

– А что случилось в понедельник?

– Дед умер.

– От чего?

– Странный вопрос. От старости. От чего же еще умирают люди в девяносто лет?

– Иногда в девяносто умирают от топора в голове. А бабушка?

– Бабушка еще жива. Она-то и стала причиной того, что я десятый день не нахожу себе места.

– Это как-то связано с картиной?

– Стал бы я приглашать вас, если бы нет. – Евгений Борисович повел плечами, словно рубашка под пиджаком прилипла к спине. – Перед смертью, в течение недели, дед рассказывал бабушке о своей жизни во Франции. Он, видимо, чувствовал, что отдает концы.

– Как-то вы о дедушке...

– Если бы не его внезапно пробудившаяся любовь к жене, которую он не видел полвека, я бы спокойно мастерил мебель в мастерской отца и не имел тех хлопот, которые сейчас сводят меня с ума!

– Вы лжете.

– Лгу, – подумав, произнес молодой человек. – Я лгу. Не хотел бы я мастерить кресла и ковыряться в обивке. Меня моя жизнь вполне устраивает.

– А зачем лжете?

Евгений Борисович раздраженно встал из кресла и принялся ходить вокруг столика. Когда он оказывался за спиной

Голландца, тот начинал его рассматривать в зеркале двери.

– Моя жизнь изменилась. Резко изменилась. Так день меняется на ночь, понимаете? С того самого момента, как в дом была внесена эта картина. Все мысли мои о ней, я не могу работать...

– При чем здесь бабушка?

– Это она отдала мне картину.

Внезапно молодой человек остановился за креслом Голландца, и оно пошатнулось. Соображая, не примеряется ли благочестивый джентльмен топором, Голландец обернулся. И тут же, коснувшись щекой носа Евгения Борисовича, отпрянул.

– Вместе со мной дед привез в Союз картину, – остервенело зашептал Евгений Борисович ему в ухо. – Полотно размером сорок два на шестьдесят три сантиметра!.. – шипящие, щекоча висок, забирались в ушную раковину Голландца, и ему казалось, что это кошка, вытянув свой шершавый язык, пытается вылизать ему барабанную перепонку.

– Значит, на картине и остановимся, – решительно заключил он, пытаясь подняться.

– Нет!.. – Руки молодого человека, чего от него ожидать до сих пор было невозможно, вдавили крепкое тело Голландца в кресло. – Не на картине... Мы успеем о ней поговорить... Хотите выпить? – так же неожиданно предложил он.

Голландец поднял на молодого человека глаза. Ему на лоб с лица Евгения Борисовича упала капля. Голландец развер-

нулся и, освобождаясь от захвата, поднялся на ноги. Теперь он мог без труда рассмотреть хозяина дома. По вискам Евгения Борисовича, соревнуясь друг с другом, бежали две капли. Лоб его покрылся испариной, взгляд блуждал по залу.

Опустив наконец руки, которые тут же стали ватными, Евгений Борисович шагнул к столику и поднял с него серебряный колокольчик.

Очень скоро на его короткий перезвон появился некто, в ком Голландец безошибочно угадал дворецкого.

– Принесите коньяк, – потухшим голосом приказал молодой человек.

– Мне кажется, не помешала бы и валерьянка, нет? – как можно миролюбивее заметил Голландец.

Молодой человек внимательно посмотрел на него. Так смотрят на монету, ценность которой мешает определить слой ржавчины.

– Вы думаете, я сошел с ума?

– Я думаю, нам пора поговорить о картине. Обсудить финансовую сторону сделки и либо ударить по рукам, либо расстаться.

– Однако я все-таки закончу свой рассказ.

– Конечно. – И Голландец потянулся к бутылке. В эту минуту ему не хотелось противоречить хозяину дома.

## Глава II

– Картина, которую привез дед, принадлежала его второй жене, француженке. К ней, если верить рассказу бабушки, она перешла от матери. А матери – от ее матери...

«В такие минуты бываешь счастлив, что Ван Гог умер всего-то в позапрошлом веке, – подумал Голландец. – Если бы у него отняли полотно Рубенса, жить бы мне здесь до пятницы».

– Последний в списке владелец картины, сведениями о котором я располагаю, это и есть бабушка французской жены моего деда. Колин Гапрен... Вам знакомо это имя?

– Впервые слышу, – смакуя коньяк, признался Голландец.

– В тот момент, когда картина оказалась у нее, она жила в Мартиге. Это юг Франции, портовый городишко, в шестидесяти километрах по железной дороге от Арля.

– Редкое упоминание Арля наполняет ваш рассказ хоть каким-то смыслом. Арль – это последний этап жизни Винсента.

– Не торопитесь, не торопитесь... – устало пробормотал Евгений Борисович. – Все только начинается... Колин Гапрен – это тетка Рашели, девушки из борделя на улице Риколетт в Арле.

Голландец опустил рюмку, которую собирался было поднести к губам, и остановил взгляд на Евгении Борисовиче.

– Вам осталось только сказать, что проститутке Рашели – она же Габи – картину подарил Ван Гог.

– И не подумая. Я не собираюсь вас эпатировать, я предлагаю вам историю, которая, быть может, поможет вам вернуть мне картину.

Выдержав паузу, которой оказалось достаточно, чтобы опустошить содержимое до краев наполненной рюмки, Евгений Борисович еще некоторое время сидел неподвижно, но не блаженствуя от ощущений после выпитого, а просто предоставляя возможность жидкости спокойно закончить свой путь. Голландец готов был поклясться в этом.

Евгений Борисович продолжил:

– Эту картину проститутка Рашель, приехав в Сен-Реми, купила у доктора Рея за тридцать франков. После чего, побывав в гостях у тетки, оставила до лучших времен.

– «У доктора Рея...» Вы имеете в виду того Рея, который... – Голландец поднял руку и пошевелил пальцами.

– Я думал, вы знаете о Ван Гоге все, – с иронией бросил молодой человек.

– Во Франции Реев как в Москве Петровых. Я просто хотел уточнить: доктор Рей – это тот самый Рей, что был лечащим врачом в больнице для душевнобольных в Сен-Реми?

– Именно так. Это тот самый доктор Рей.

– А как картина Ван Гога, о которой мы, к моему великому сожалению, даже не начали еще говорить, оказалась у доктора Рея? – Голландец, поставив на стол полную рюмку,

сцепил пальцы в замок. – Я знаю историю одной картины, подаренной Рею Ван Гогом, – это портрет самого доктора. Впоследствии Рей заложил им дыру в своем курятнике, чтобы несушек не тревожили ветра, а одиннадцать лет спустя он его оттуда вытащил и продал за полтораста франков. Спустя еще некоторое время картина оказалась в руках русского коллекционера Щукина. Он купил полотно в тысяча девятьсот восьмом году в парижской галерее Дрюэ, а потом подарил Пушкинскому музею. Мне жаль реставратора Елену Москвину, которая над этим холстом... Впрочем, это к делу не относится. Надеюсь, не об этой картине мы говорим сейчас, Евгений Борисович? – Голландец пальцами, сложенными в «замок», почесал подбородок. – Мне бы очень не хотелось сойтись на одной дорожке с сотрудниками Роскульту-рохраны.

Молодой человек свирепо выдохнул через нос и стал проявлять признаки беспокойства.

– Дьявол меня порви, господин Голландец!.. Я пытаюсь придать своему рассказу академическую ритмичность, но из-за ваших врезок он уже даже мне самому кажется бредом сумасшедшего!.. Позвольте мне договорить до конца или хотите поговорить о «Портрете доктора Рея»? Если последнее, извольте! Я знаю о нем не меньше вашего!..

Голландец, который порядком устал находиться в этом доме, осторожно откинулся на спинку кресла. Точнее – утонул в нем.

– Это «Ирисы в вазе», – сказал вдруг успокоившийся Евгений Борисович и поднял на Голландца полный опаски взгляд. Но тот, даже не поведя бровью, сидел в кресле словно мертвый.

– Вы слышали, что я только что сказал?

– Слышал.

– И почему никак не реагируете?

– Это не будет врезкой?

– Прекратите ерничать.

– Будь по-вашему, – согласился Голландец и наклонился к столику. – Но сначала один вопрос. Каким годом датированы ваши «Ирисы в вазе»?

Молодой человек провел рукой по брючине так, словно собирался разгладить стрелку.

– Одна тысяча восемьсот восемьдесят девятым годом.

– Замечательно. – Голландец дернул головой и закинул назад упавшие на лоб волосы. – Начну с того, что тема ирисов захватила Ван Гога с тысяча восемьсот девяностого года. В принципе разговор на эту тему уже может быть закончен. Но вопреки здравому смыслу я его продолжу. Итак, всего Винсентом Ван Гогом было написано четыре полотна, на которых присутствуют ирисы в вазе. Одна из них находится в нью-йоркском Метрополитен-музее, вторая – в амстердамском музее Винсента Ван Гога. Остальные приобретены для частных коллекций, но из вашего рассказа видно, что они не имеют к вашим ирисам никакого отношения. И больше ири-

сов в вазе Ван Гог не писал.

– Значит, вы не все знаете о Ван Гоге, – и Евгений Борисович нервно рассмеялся.

– Получается, так.

Отмечая про себя резкие перемены в настроении молодого человека, Голландец постепенно приходил к выводу, что картина для него – не просто картина. Она имеет для ее хозяина значение гораздо большее, чем произведение искусства как таковое или сумма, которую за нее могут дать.

– А почему вы решили, что это Ван Гог?

– Я похож на человека, который поверил бы на слово родному дедушке или, того лучше, – бабушке?

– Кто проводил экспертизу?

– Жданов. Потом Гессингхорст.

Голландец расслабился и прикрыл глаза. Жданов – специалист экстра-класса. Когда нужно проанализировать полотно, выводить в свет которое преждевременно или невозможно, появляется Жданов. Репутация у него такая же темная, как и картины, которые он исследует. Но Гессингхорст проводит экспертизы для Сотбис, когда другие специалисты поднимают руки вверх. За достойный гонорар Гессингхорст даст и мотивированный ответ, и примет обет молчания. Эти две личности сами требуют тщательной экспертизы, но спорить с их мнением всегда затруднительно. Во всяком случае, еще ни один из них не ошибся и ни один из них за деньги не солгал. Потому, наверное, к ним и обращаются за помощью

такие, как Евгений Борисович.

– Меня смущает формат полотна. Ван Гог не писал картины на холстах размером сорок два на шестьдесят три сантиметра.

– Президент японской компания «Ясуда», купивший в восемьдесят восьмом «Подсолнухи» Ван Гога за двадцать пять миллионов фунтов, тоже поначалу впал в прострацию, когда выяснилось, что картина написана на холсте из джута, который Ван Гог никогда не использовал.

– Дорогой Евгений Борисович, – отставляя рюмку в сторону и снова утопая в кресле, Голландец прищурился, словно в глаза ему ударил свет. – Великие мистификации – особенность минувшего века. Я, например, уверен, что «Подсолнухи», что хранятся в «Ясуде», и есть подделка. И больше доверяю тем, кто твердо уверен в авторстве Гогена, а не Ван Гога. Картина от того не становится дешевле, но сам факт, что надули, для главы «Ясуды» категорически недопустим. Он заплатит еще двадцать пять миллионов фунтов стерлингов, чтобы авторство Ван Гога было доказано способами, далекими от беспристрастных, коль скоро иные невозможны. Или сделает харакири.

– Это просто слова, господин Голландец.

– Это не слова. Я знаю, у кого находятся настоящие «Подсолнухи». А вот теперь можете считать это просто словами. Какую цену установили Жданов и Гессингхорст для ваших «Ирисов»?

Евгений Борисович снова звякнул в колокольчик. Появился дворецкий. Ему было велено распорядиться насчет кофе и свежевыжатого сока. Когда за дворецким закрылась дверь, молодой человек сказал:

– Жданов определил стоимость в двадцать пять миллионов долларов. Гессингхорст назвать сумму отказался. По непонятным мне причинам.

– Отказался?

– Вот именно.

– Гессингхорст отказался?.. Может, это был не тот Гессингхорст?

– Не беспокойтесь, тот самый. Яков Николаевич. Я не в первый раз обращаюсь к нему. Он сказал, что приболел и плохо себя чувствует.

Голландец в неразберихе чувств пошевелился в кресле.

– Но осмотреть полотно здоровья у него тем не менее хватило?

– Вот именно. Однако он подтвердил ждановскую оценку, то есть вероятность стоимости полотна в двадцать пять миллионов, заметив при этом, что за него с равным успехом может быть заплачено как сто миллионов долларов, так и сто тысяч.

– Разумеется. Все зависит от своевременности появления картины и истории ее написания. Хотя Ван Гог всегда своевременен. За год выставляется не более двух-трех его работ... – Голландец потянулся к столику, где лежал на блюде

це его чупа-чупс. – Но остановимся на цене, которую заявил Жданов. Вам известны условия моей работы?

Евгений Борисович снисходительно, словно вынужденно соглашаясь с общепринятыми нормами, кивнул.

– Да, меня предупредили люди, к которым я обращался с просьбой подыскать хорошего специалиста... Вы берете один процент от начальной цены картины и не называете имя человека, ее похитившего.

– Все верно. И половину – сразу.

– Один вопрос, – поспешил молодой человек, и на щеках его появились небольшие, с рублевую монету, розовые пятнышки смущения. – Для удовлетворения любопытства, господин Голландец, если позволите... С одним процентом все понятно, хотя на фоне общей стоимости картины сумма приличная... Но почему вы скрываете имя вора? Ведь его задержание облегчило бы вам работу в будущем?

Здесь, в помещении, где пахло красками и древесиной, Голландец чувствовал себя раскованно.

– Поэтому безутешные коллекционеры и обращаются ко мне, а не к другому – я веду речь о коллекционерах разумных. Именно потому, что я никогда не отдаю воров в руки правосудия или на растерзание владельцам, я знаю всех, кто способен унести полотно. Красть Ван Гога, Моне, Сера или Дега возьмется либо идиот – по случайности, либо профессионал под заказ. Поэтому когда я выясняю, у кого находится картина, я приезжаю к нему сам, лично. Продать мне укра-

денное всегда выгоднее, чем искать покупателя своими силами или оказаться в поле зрения обнесенных тобой людей.

– Продать?! Вам?

– Разумеется. Для этого я и беру часть гонорара вперед. – Голландец почувствовал в кармане вибротряску телефона, вынул его, посмотрел на табло и отключил. – У каждого свои принципы, Евгений Борисович. Принципы людям или помогают жить, или мешают. Мне они позволяют иметь финансовую независимость от неблагоприятных стечений обстоятельств, кризиса и прочей ерунды. Ваше любопытство удовлетворено?

– Вполне. Каким образом должен произойти расчет?

– Один процент от двадцати пяти миллионов – это двести пятьдесят тысяч долларов. Половину этой суммы вы сегодня перечислите на счет, который я укажу, оставшуюся сумму передадите мне, когда я верну вам Ван Гога. И я прошу вас не совершать ошибки, которой подвержены большинство людей, со мной незнакомых.

– О чем речь? – Пятнышки на скулах молодого человека увеличились.

– Некоторые неразумные коллекционеры пускают мне вслед частных детективов. Это неправильное решение.

– Признаться, именно к этому решению я и пришел только что. Как вы догадались?

– Вы все предсказуемы, как крокодилы.

Бросив на столик визитку, на которой были указаны рек-

визиты банка и ничего больше, Голландец поднялся.

– Рад был познакомиться. А сейчас не могли бы ваши люди меня отвезти туда, где мы встретились, – к Большому театру.

– Никаких проблем, – заверил Евгений Борисович. – Один вопрос напоследок...

Голландец остановился на полпути к выходу.

– Почему – Голландец?

– В студенческие годы, когда денег всегда было мало, а желудок не желал прислушиваться к звону монет в кармане, я собрал за городом грибов и пожарил их у себя в комнате. Это было очень вкусно. Но, поскольку в грибах я разбирался тогда не так хорошо, как сейчас в Делакруа, я пожарил не те. И почти сутки находился в плену волшебных снов. Точнее сказать – в коме.

– Простите, что затронул неприятную для вас тему.

– Вы не правы. – Голландец в истоме потянулся. – Это очень приятная тема...

Поднявшись, он шевельнул плечами и направился к двери. Взявшись за ручку, он некоторое время крутил ее, стараясь не клацать замком.

– Что, если эти ваши «Ирисы в вазе» – не Ван Гог, а Гоген? Он любил, знаете, копировать друга. Или того хуже – Джона Майата или Шуффенекера?

– Вы ставите под вопрос репутации Жданова и Гессингхорста?

– Это не я, это они поставили, приехав к вам для производства нелегальной экспертизы и оценки картины.

– Вы тоже приехали не по вызову Пушкинского музея, не так ли?

Голландец посмотрел на молодого человека взглядом, в котором искрился сарказм.

– Разница между мной и ними в том, что мне плевать на репутацию. И никто не сможет запретить мне искать картины. – Оттолкнув от себя дверь, Голландец вынул из кармана телефон. – Хорошо, Евгений Борисович, закончим этот разговор. Я найду вам то, что Жданов оценил в двадцать пять миллионов долларов.

– До встречи, – согласился хозяин дома.

– Последний вопрос разрешите?

– Пожалуйста.

– Где сейчас бабушка? Я имею в виду ту, к которой вернулся дед?

– После смерти деда она серьезно заболела... Мне пришлось ее госпитализировать.

– Последний в списке владелец картины, сведениями о котором я располагаю, это не бабушка французской жены вашего деда. Потом была его французская жена, потом ваш дед, а после – ваша бабушка в России. Сейчас владелец – вы.

– Я имел в виду законного владельца...

– Ваш дед украл картину у французской жены?

Хозяин дома стал барабанить пальцами по бедру.

– Не нервничайте, я не из Интерпола.

– Все-таки, когда говорят о владельце картины, имеют в виду именно законного владельца.... Вы меня понимаете?

– Я вас понимаю. Но для этой картины юридические факты не имеют никакого значения. Она всецело принадлежит тому, кто ею в данный момент владеет.

– Что вы хотите этим сказать?

– Пока ничего. Стационар, в который вы поместили свою русскую бабушку, он какого профиля?

– Кардиологический.

– Понятно.

Голландец развернулся, чтобы уйти, но в этот момент услышал за спиной звук упавшего на пол стула. Он обернулся, когда хозяин дома был уже рядом с ним. Схватив Голландца за плечи, он рванул его на себя так, что затрещали рукава рубашки.

– Мне нужна эта картина, понимаете?! Нужна!.. Верните ее мне и получите все, что хотите!..

Голландец внимательно всмотрелся в глаза Евгения Борисовича. Ему казалось, что взгляд хозяина дома метался по его лицу, но не находил точки опоры.

Дверь открылась. Несоответствие появившихся звуков теме разговора возбудило интерес двоих известных Голландцу мужчин. Убедившись, что причин для беспокойства нет, они успокоились и обмякли.

– Теперь вы понимаете, почему я так одеваюсь? – спросил

Голландец у одного из них и повернулся к остывшему Евгению Борисовичу. – Я постараюсь.

– Постарайтесь! Иначе я не смогу ни спать, ни есть!

Голландец покинул этот не слишком уютный дом.

Выйдя на Петровке, он пешком добрался до Большого. Лавочка, на которой он сидел в полдень, была занята. Двое молодых людей, немногим младше Евгения Борисовича, вза-вза целовались на ней. Один из парней закинул на приятеля ногу, второй держал его голову обеими руками. Пройдя мимо, Голландец вставил в гнездо штекер наушников, включил запись и сел на другую скамейку. Барбара Фритолли взяла с той ноты, на которой ее прервали, заслонив Голландцу солнце.

Осторожно раскрутив вторую пуговицу сверху, он вынул из нее предмет, похожий на копеечную монету, и опустил в карман.

Через двадцать минут, дослушав до конца, он снял со спинки скамейки руки, освободил уши от наушников и открыл глаза.

– Лжец, – тихо, но уверенно произнес он. И загадочно улыбнулся.

Еще минуту Голландец задумчиво смотрел на Аполлона, управляющего лошадьми на крыше театра.

«Я был прав», – он еще не успел подумать об этом, как рука скользнула в карман.

Нажав кнопку быстрого вызова, Голландец еще раз по-

смотрел на Аполлона.

– Гала, это я. Евгений Борисович Лебедев, – он назвал адрес заказчика. – Это не все. Его дед вернулся в СССР в конце восьмидесятых из Марселя. Незаконная жена деда – Колин Гапрен из Марселя. Мать Гапрен. Бабушка Гапрен. Дед Лебедева умер в прошлый понедельник. Меня интересует, где и при каких обстоятельствах преставились эти люди.

– Хорошо, – в трубке закончился стук клавиатуры. – Как всегда – срочно?

– За мной спектакль Виктюка.

– О! Значит, очень срочно.

Гала любила театр Виктюка. Где-то очень глубоко, на дне души оператора КРИП отголоском прошлой жизни покоилась и изредка шевелилась любовь к спектаклям Виктюка. Чем он брал эту бесчувственную душу, Голландец не знал. В КРИП никто ни о ком ничего не знал.

## **Арль, 1889 год...**

Гоген качнулся с пяток на носки, отвел взгляд от окна, направился к своему холсту и принялся укладывать краски в ящик. Он выполнял эту работу с меланхоличной педантичностью – каждой краске в его ящике было предназначено свое место. Приехав в Арль, он обнаружил в приготовленной для них Винсентом комнате не поддающийся описанию хаос. Десятки, сотни выдавленных, использованных и едва почач-

тых тюбиков с красками заполняли ящик Ван Гога, рабочий стол и подоконники. В этом был весь Винсент. Он и в общении имел склонность к беспорядочным беседам, неожиданно перескакивая с одной темы на другую: с Доде на Евангелие, с Евангелия – на Рубенса. Попытки Гогена отыскать причинно-следственные связи в рассуждениях друга, которыми он мог бы объяснить непрекращающийся конфликт между его живописью и убеждениями, не добивались и до середины пути от расплывчатых рассуждений до более-менее ясной позиции. Винсент путал нити рассуждений Поля космической непоследовательностью, одновременно высказывая презрение к Энгру, опускаясь в своих поисках истины на колени перед Рубенсом, и, не вставая с колен, восторгался Монтичелли. Спорить с Винсентом в такие минуты было абсолютно бессмысленно, поэтому он лишь молча приводил рабочее место в порядок, рассеянно слушая, как называвший его другом человек бормочет, не вставая со стула:

– Картины, цены на которые задраны, могут упасть. Возразите же мне, скажите, что Хаан и Исааксон могут упасть? И я не раздумывая воскликну – да! Могут, Поль! Но только – в цене. Потому что Хаан всегда будет Хааном, Исааксон – Исааксоном, и отрицать это столь же глупо, как отрицать, что чеснок дурно пахнет. И сколько предлагают за их картины, мне безынтересно!

– Рембрандту тоже безынтересно, сколько сейчас предлагают за его картины, – не выдержал Гоген. Закончив уборку,

он хлопнул крышкой ящика. – Потому что ему не нужно покупать себе табак и хлеб. Винсент... Я обещал писать ваш портрет, когда вы работаете над своими подсолнухами. Скоро я его закончу, но не хотели бы вы сейчас посмотреть?

Живо встав со стула и бросив кисть на свой стол, в ящик, наполненный грудой тюбиков, Винсент быстро пересек комнату и протиснулся в пространство перед полотном, услужливо освобожденное Гогеном.

Через минуту Гоген услышал совершенно спокойный, чистый, уже лишенный волнения голос Ван Гога:

– Это совершеннейший я, но только ставший сумасшедшим.

И рассмеялся. Он вышел из комнаты, по обыкновению оставив кисти и краски там, где они были раскиданы.

Через два часа они, шествуя рядом и коротко переговариваясь, направились в кафе мадам Жину. Их отношения портились с каждой минутой. В Арль Гоген приехал по просьбе Винсента, поверив в создание свободной ассоциации художников. И теперь понимал, что ужиться с этим тяжелым во всех отношениях человеком ему не удастся. Мысли о возвращении в Париж стали посещать Гогена все чаще, и, казалось, он искал уже не причины, а повод разорвать отношения и уехать. Жить с Ван Гогом в одном доме было для него мучением.

Легкую, почти невесомую недоплату за обеды Винсент компенсировал, как ему казалось, дарением супругам Жи-

ну, совладельцам кафе, их портретов и видов Арля. К этому дню мадам получила уже семь полотен, последнее было вручено ей всего неделю назад. Сначала мадам хотела вывесить их на стены заведения, но муж выразил мнение, что из-за этих гроша ломаного не стоящих холстов он если не будет поднят на смех, то только потому, что никогда их не развесит. Впрочем, если бы он все-таки развесил картины, они не пришлись бы публике по душе. Желаящих проводить время в кафе, где чествуют бездарность, все равно поубавилось бы. Поэтому их ужасно выписанные портреты стояли на первом этаже их дома, под лестницей. Винсенту же было сказано, что кафе – слишком примитивное место для его картин. И Ван Гог несколько раз, забывая, что уже говорил об этом, доверял Гогену их общий маленький секрет: портреты хозяев кафе висят в их доме, в гостиной.

– Bravo, – всякий раз отвечал Поль.

В отличие от мужа постаревшая, но не утратившая красоты мадам Жину любила Винсента. Ей был по душе его бесхитростный, открытый, похожий на южный темперамент.

За столиком Поль заказал рагу, его спутник, не раздумывая, попросил абсенту.

– Винсент... – взмолился Гоген.

– Поверьте, я не хочу есть. Честное слово. – Ван Гог посмотрел куда-то в сторону и сказал подошедшей хозяйке: – Абсент, мадам.

Печально улыбнувшись, мадам Жину поинтересовалась,

не будет ли мсье Ван Гог столь любезен отведать рагу из молодого барашка. Платить за него не нужно, сказала мадам, поскольку совершенно ясно, что за картины, которые висят в ее доме, пожелай она продать их, были бы выручены куда большие деньги, чем одна порция бараньего рагу раз в неделю.

– Только абсент, мадам Жину, – с упрямством голодного человека повторил Винсент.

– Как вам будет угодно, – с нескрываемой досадой произнесла хозяйка и наконец-то обратила внимание на Гогена. Он, вкушающий баранину, выглядел куда свежее своего спутника, и мадам, желая сказать добрые слова обоим одновременно, произнесла: – Мсье Гоген, вы пишете почти так же хорошо, как и мсье Ван Гог. Очень редко удастся увидеть рядом двух художников, дорожащих дружбой своей столь же трепетно, как и врученным Господом талантом.

Вилка Гогена замерла на полпути. Подозревая, что услышался, что в силу возраста эта южанка просто перепутала порядок произносимых имен, он посмотрел сначала на нее, потом на допивающего свой любимый напиток Винсента.

– Когда-нибудь, мсье Ван Гог, – повернувшись к Винсенту, продолжила мадам Жину, – я думаю, что случится это скоро, ваши картины будут чего-нибудь стоить.

Гоген был единственным, кто понял, что его только что ненамеренно оскорбили дважды.

– Когда это случится и вы задумаете продавать их, не бе-

рите меньше ста пятидесяти франков, – торопливо посоветовал Винсент. – А последний ваш портрет, мадам Жину, мог бы уйти и за двести! Но если только вы потрудитесь найти известного в Париже торговца. Если хотите, можете обратиться к брату моему Тео, – и Ван Гог благодарно улыбнулся. Бесплатно рагу ему предложили здесь впервые.

– Я думаю, мадам Жину незачем беспокоиться некоторое время, – ровно произнес Поль, дожевывая и глотая кусок мяса. – Некоторое продолжительное время, – уточнил он. Вытерев рот салфеткой, Гоген откинулся на спинку стула.

– Еще раз абсент, мадам, – сдавленным голосом попросил Винсент.

– Глупо, очень глупо, – снова заговорил Гоген, когда хозяйка отошла за заказом, – глупо отказывать себе в еде, потому что мои картины имеют успех, а ваши... – и он посмотрел вслед уходящей мадам Жину. – Я и ваш брат Тео – вот на чем держится зародыш задуманной вами ассоциации художников. Мы скромно пополняем кассу, но кто из нас упрекнул в этом вас, Винсент? Не все получается на первых порах, выразить свое видение бывает подчас невыносимо тяжело...

Схватив наполовину наполненный абсентом стакан, Винсент изо всех сил, обливая себя и скатерть, запустил его в голову Гогену. Стон, вырвавшийся в этот момент из его груди, заставил мадам Жину поднять голову.

Рухнув грудью на стол, Гоген с облегчением услышал за спиной грохот разбившегося о стену стекла.

– Черт бы вас побрал, Винсент! – глухо вскричал он, вскакивая навстречу обмякающему приятелю. – О, черт бы вас побрал!..

Перехватив его тело поперек, он выволок Винсента на улицу.

– Очнитесь, сумасшедший!.. – раз за разом повторял он, нахлестывая по исхудавшим щекам почти потерявшего от голода сознание Ван Гога. – Придите же в себя, безумец! – И с последним ударом из разбитого носа Винсента вырвалась, торопясь, точно опаздывая на свидание с воротником, тонкая струйка крови.

Через четверть часа, втащив потерявшего способность мыслить Винсента в комнату, он с размаху бросил его на постель. Сам же, тяжело опустившись на пол, запрокинул голову так, что она оказалась как раз напротив бедра приятеля.

– Я сойду с ума... – шелестящим шепотом частил Поль. – Я здесь сойду с ума... Он доломает то, что во мне еще цело... Впрочем, что целого во мне осталось?.. Способность писать натюрморты на фоне ушедшей и уведшей детей истеричной дряни? Привычка вращаться в обществе проституток и водить дружбу с зараженным одной из них гонореей одуревшим художником? Боже мой, это все, чего я оказался достоин, перевалив через вершину жизни... – Он посмотрел на лежащего на спине Винсента, на его впалые щеки, покрытые трехдневной, мутно отливающей на солнце рыжей щетиной, почувствовал несвежий запах, доносившийся из его рта, и

поморщился.

Поднявшись, он разыскал в комнате, служившей одновременно и мастерской, початую бутылку абсента. Ничего другого тот не пил. Приложившись, Поль с удовольствием влил в себя несколько ресторанных порций, потом с отвращением поморщился и со свистом выдавил из себя:

– Завтра я оставлю его...

Но следующим утром Винсент, проснувшись, проговорил конфузливо, но как-то очень убедительно:

– Милый Гоген, я весьма смутно помню, что делал вчера вечером, но почему-то мне трудно перебороть желание извиниться перед вами. Я... не знаю за что, но простите, ради всего святого.

Разве был правдив с собой Поль, когда пообещал покинуть Винсента! Сейчас он не мог оставить его.

– Я прощаю вас, дорогой Винсент, – страстно ответил он, – но призываю Господа в свидетели: если вчерашнее самым удивительным образом повторится, клянусь, я убью вас!

Вечером этого же дня, приготовив себе в комнате ужин и ощутив необходимость прогуляться по узким улочкам Арля, Поль наскоро перекусил и вырвался прочь из этого дома. Он хотел дышать каштанами и розами и вернулся бы домой вполне пресыщенный хорошими впечатлениями, но не успел миновать центральную площадь города, как услышал за спиной мелкие шажки. Так небрежно и неуважительно к

себе частить мог только один человек. И шаги эти Поль распознал бы среди сотен известных ему людей и десятков тысяч незнакомых...

Предчувствуя беду, он обернулся и увидел Ван Гога. Винсент с безумным, исподлобья, взглядом, с влажными от пота висками стоял в трех шагах от него и сжимал бритву в руках так, как всегда сжимал кисть перед последним мазком.

«Бежать?» – пронеслось в голове Гогена.

Он мог бы спастись, бросившись вперед, он был здоровее Винсента во всех отношениях. Но ему вдруг припомнилось, что признаки испуга никогда не удовлетворяют элементарных претензий сумасшедших, как и собак, на собственное превосходство. И тогда Гоген, опустив руки и перестав моргать, сделал шаг навстречу своей смерти...

Винсент остановился, шумное дыхание его на мгновение сбилось, рука дрогнула, и он, отступив назад, вдруг развернулся и, низко склонив голову и не шевеля руками, опущенными вдоль тела, стремительно бросился прочь.

– Пресвятая Богородица... – прошептал Поль серыми, как вчерашний фарш, губами. – Это переходит все границы, простите.

Через десять минут, ничуть не изменившийся внешне, пребывая все в том же состоянии смертельного ужаса и полной растерянности, он снял номер в самом лучшем отеле Арля и, пытаясь привести хоть в какой-то порядок мысли, стал шагами мерить комнату.

– Первое... Письмо Тео. Рвать окончательно и бесповоротно. Второе... Второго нет и быть не может!

Ринувшись к бюро, он выудил из него бумагу с эмблемой отеля и чернильницу.

«Дорогой Тео! – писал Поль брату Винсента. – Обстоятельства складываются таким образом, что дальнейшее мое нахождение с вашим братом решительно невозможно. Несколькими часами до того, как я сел писать эти строки, Винсент в припадке умоисступления напал на меня с бритвой. Сутками ранее он – о чем я предпочел не сообщать вам поначалу, но теперь утаивать это невозможно, в кафе мадам Жину совершенно беспричинно швырнул мне в голову гра-ненный стакан. Я прошу вас прислать мне вырученные за последние мои картины деньги, Тео, и понять правильно мое настроение в данный момент. Я в прострации, и состояние мое легко описать красками вашего брата. Ваш Поль».

Дописав, Гоген собрался было идти отправлять его, но вдруг почувствовал, что на него навалилась чудовищная усталость. Все, что он мог совершить сейчас, это добраться до кровати и, не раздеваясь, уснуть. Что он и сделал.

Утром, едва забрезжил рассвет, он тут же сел на кровати. Гоген только что во сне видел Винсента, у него в руке была бритва, он что-то кричал, но Поль не понял и слова.

Однако пора было отправлять письмо.

Выйдя на улицу, он обнаружил странную суету. На площади и в начале улочки, на которой было расположено кафе

мадам Жину, царила неразбериха. Точка хаоса, доведенная до абсолюта. Не слишком конфузясь от того, что небрит и помят после сна в одежде, Поль дошел до гудящей толпы. И только сейчас заметил, что это всего лишь сторонние зеваки, преимущественно – девицы салона мадам Лили. Многие из них Гогену были хорошо знакомы. Он находил в их обществе способ убежать от одиночества.

Столпотворение происходило у дома, где он жил с Винсентом. Отчего-то волнуясь, Поль быстрым шагом направился к дому. У крыльца стояли двое полицейских: один в штатском – не узнать в нем представителя власти мог разве что приезжий, и ажан в форме. Первый курил трубку, второй – сигару. Поль медленно, обводя взглядом толпу и соображая, что могло случиться этой ночью, подошел к тому, что был в штатском.

– Мсье Гоген? – не очень дружелюбно попытался познакомиться с Полем толстячок в шляпе.

– К вашим услугам.

– Я комиссар Деланье, – неохотно, словно выдавая государственную тайну, признался толстячок. – А вы художник, – последнее не было похоже на вопрос.

– Да вы просто провидец, мсье Деланье.

– Почему бы вам просто не сказать, что не удивлены моим провидением и что имя ваше в Арле известно?

– А почему бы вам просто не сказать, что вам от меня нужно?

– Как вы распорядились своим временем с семи часов вечера вчерашнего дня и до того момента, как увидели меня?

– Лучше скажите, что вам нужно.

– Мсье Гоген, я вижу, вы из тех людей, разговор с которыми складывается удачно только в полицейском участке. – Толстячок выразительно закусил мундштук трубки и принялся изучать усы Гогена, как умерщвленную в морилке бабочку.

Полям овладела тревога.

– Что с Винсентом? – дрогнувшим голосом спросил он. – Вы здесь из-за него?

– Так чем вы занимались и где были в указанное мною время? – как и всякий провинциальный полицейский, комиссар Деланье был непробиваем.

– Если я отвечу вам отказом, вы вряд ли начнете рассказывать мне о Винсенте?

– Лучше бы вам не отказывать мне.

Поля занервничал. Он понимал, что произошло что-то нехорошее. И лучше бы ему на самом деле не вести себя как последнему идиоту, порождая у представителя власти подозрения и неприязненное к себе отношение. Но справиться с собой оказалось труднее, чем наругать толстячку.

– Послушайте, вы, Деланье, или как вас там... Пошли вы к черту! Я иду к себе домой!

И, намеренно задев плечом полицейского, наслаждавшегося сигарой на пропитанном ароматом ирисов воздухе, Го-

ген направился к входу.

– Пусть идет, – разрешил комиссар.

Гоген услышал шаги Деланье за своей спиной.

Шагнув в прихожую, Поль почувствовал легкое недомогание. Весь первый этаж был завален тряпками. Новыми тряпками, которые несколько дней назад он купил для протирки кистей и рук. Белые хлопчатобумажные лоскуты различной формы были насквозь пропитаны кровью. Без труда работающая фантазия Гогена тотчас воскресила в голове сначала интерьер первого этажа, а потом заваленную октябрьской кленовой листвой аллею городского парка. Стараясь не наступить на клочки, он неуверенным шагом направился к ведущей наверх лестнице. Комиссар топал сзади, не слишком заботясь об аккуратности. Тряпки прилипали к его ботинкам, и он сбрасывал их резким движением, подобно тому, как ретивая лошадь отбивается от бешеной собаки.

Опершись на стену, Гоген тотчас от нее отпрянул. Кровью в этом доме было полито все...

Вцепившись в перила так, что побелели суставы пальцев, Поль хрипло – ему даже показалось, что он вообще не смог произнести ни звука, спросил:

– Комиссар... Ван Гог, он жив?

– Позвольте задать вам один интимный вопрос, мсье Гоген. – Словно на самом деле не расслышав вопроса, комиссар облизал губы и платком, вынутым из кармана, протер мундштук. – Зачем вам понадобилось убивать вашего друга?

У Поля потемнело в глазах.

Развернувшись к перилам, он вцепился в них обеими руками.

– Ладно, ладно, я пошутил, – услышал Поль сквозь фиолетовую дымку карусели вдруг появившихся звуков. – Мсье Ван Гог всего лишь без уха.

Гоген лишился дара речи. Перед глазами возникла безумная фигура друга с бритвой в руках.

– Мсье Гоген, – снова заговорил комиссар Деланье, – так зачем вы отрезали ухо своему приятелю Винсенту?

Не желая быть объектом внимательных взглядов зевак, которых местные полицейские по традиции провинциальных городков не сочли нужным удалить от дома, Поль с трудом оторвал правую руку от деревяшки перил и выбросил ее вверх и в сторону:

– Пойдемте, мой слабоумный комиссар. Я расскажу вам эту страшную историю. Вы желаете выглядеть в глазах толпы посмешищем, я – нет.

Незамысловатый ход комиссара выглядел на самом деле нелепо. Но он и не рассчитывал добиться какого-то эффекта. Полю показалось, что куда большее наслаждение полицейский испытывал не от постижения истины, а от растерянности собеседника. Потому ли, что спектакль пора было заканчивать, дабы сохранить лицо постановщика, или оттого, что до их комнаты оставалось чуть больше десяти шагов, комиссар Деланье вдруг превратился в разговорчивого мало-

го. Он неожиданно заговорил с таким живым и трогательным красноречием, что Гоген в растерянности – не результат ли это очередного хода полицейского, пытавшегося достичь наивысшего наслаждения, остановился.

– Мсье Ван Гог вчера вечером, около четверти восьмого, вернулся домой и отрезал себе бритвой левое ухо...

Поискав, на что можно опереться, Поль не нашел ничего подходящего и положил ладонь на грудь комиссара.

– А после отколол номер, – продолжал толстяк. – Но сначала остановил хлещущую из раны кровь. Для этого он использовал все имеющиеся в этом доме тряпки, включая старенькие занавеси и даже скатерть, которую порезал на куски той же бритвой.

С чмоканьем всосав в себя три или четыре порции дыма, комиссар вежливо пустил струю мимо Поля.

– Замотав рану и натянув на голову свой любимый, как рассказала мне квартирная хозяйка, баскский берет, он вымыл отрезанное ухо, запечатал в конверт и отправился в увеселительное заведение на улице Риколетт. Вы его, как я уже тоже выяснил, хорошо знаете.

Поль вскинул на комиссара возмущенный взгляд и решил ответить выпадом на выпад.

– Похоже, откровенны там с вами были не потому, что вы полицейский, и не потому, что там хорошо знают меня, а потому, что там хорошо знают вас.

– Не будем отвлекаться, мсье Гоген, – на мгновение вы-

нув изо рта мундштук, миролюбиво проговорил комиссар. – Итак, на чем я остановился?..

– Вы подняли ружье и тщательно прицелились в бекаса. Комиссар рассмеялся.

– Нет-нет, господин Гоген, вам не удастся меня одурачить! Мы говорили об увеселительном заведении на улице Риколетт, куда отправился с подарком ваш друг Ван Гог! Итак, он прибыл в публичный дом и вручил конверт девушке по имени Рашель, произнеся при этом: «Оно слышало больше, чем вы предполагали».

Поль не выдержал и в упор посмотрел на комиссара. Прятать глаза было поздно.

– Что, – оживился Деланье, – я сообщил что-то странное для вас?

– Думаю, в том месте, где нас с вами хорошо знают, вы уже нашли ответ на этот вопрос, – процедил сквозь зубы Гоген.

Комиссар вздохнул:

– Верно... Нашел. Но до чего же вы хитры, мсье Гоген. Ведь вы прямо не ответили ни на один из моих вопросов, а?

– Просто они прозвучали настолько глупо, что придавать им какое-либо значение было бы поистине смешно.

– Вы положительно несговорчивы, Поль Гоген.

– Мсье Поль Гоген!

– Да, простите, мсье, – выдавил Деланье и снова погрузил мундштук в рот. – Но вернемся к вчерашнему, потрясшему весь город случаю. Господин Ван Гог дождался, когда девица

вскроет конверт и поймет, что держит в руках, убедился в том, что обморок ее глубок настолько, насколько он рассчитывал, и только после этого отправился восвояси. Дома он позаботился о ставнях, прикрыв их, зажег лампу, поставил ее у постели и лег, – последние слова комиссар произнес с такой ненавязчивой простотой, словно речь шла о зарядившем дожде.

– Лег? – переспросил Гоген, который всячески тянул время перед входом в комнату. Ему представлялся Винсент в баскском берете, из-под которого торчало только одно ухо, на месте же второго зияла дыра немыслимой глубины и размеров...

– Точно так, мсье Гоген. Лег. А через десять минут на площади и вокруг этого дома образовалось скопление людей. В том числе девиц легкого поведения. Весь вчерашний вечер, всю ночь и последующее за нею утро горожане пытаются сообразить, зачем весьма не преуспевающему художнику Винсенту Ван Гогу понадобилось отсекать себе ухо и дарить проститутке. Но ему на этот шум под его окнами, кажется, было категорически наплевать. В данный момент, как я уже сказал, он лежит, курит голландскую трубку, не очень веселым взглядом подпирает потолок, и вид у него такой, словно у него не одно ухо, а как минимум два.

– И не реагирует ни на свет, ни на громкие звуки, ни на обнаженных женщин, ни на крушащиеся балки потолка, – добавил Поль.

– Это так, – комиссар оживился. – Но почему человек, отрезавший себе ухо, ведет себя таким неестественным для человека, оказавшегося в его положении, образом?

Гоген с глубочайшей тоской посмотрел на Деланье.

– Я вас знаю всего несколько минут. Но уже четырежды успел подумать о том, что вы бесконечно глупы.

– Глуп я? Или отчленивший себе орган ваш собрат по профессии? Или вы, являющийся его другом? Если чисто гипотетически предположить, что ухо ему отрезали не вы и что мсье Ван Гог не покрывает вас, тогда кто мог бы это сделать? Мне отчего-то не верится, что... как бы это сказать... что разумное существо предрасположено к отделению от себя лишних, по его мнению, частей... Я неумело выразил свою мысль, а?

У Гогена заболела голова. Он растер виски. Ему по-прежнему было страшно заходить в комнату, где он прожил несколько месяцев и написал несколько лучших своих полотен.

– Мсье Деланье, – пробормотал он и кашлем прочистил горло. Собрав руки в замок, Гоген принялся шевелить ладонями так, словно намыливал руки. – Мсье Деланье... Вы сказали – разумное существо... Освободите ли вы меня от своей назойливости, если, к примеру, вы убедитесь в том, что Винсент не настолько разумен, чтобы судить о нем как о человеке без странностей?

– Что вы хотите сказать этим, мсье Гоген? – Комиссар Де-

ланье, пытаясь проникнуться этими словами, даже нахмурил лоб.

– Я так и знал... Я неумело выразил мысль свою, а?.. Винсент Ван Гог болен, комиссар. Его психика расстроена. Последние недели ночью, просыпаясь по странному стечению обстоятельств, я видел его стоящим у своей постели. Но хватало моего: «Что с вами, Винсент?», – чтобы он молча возвращался на свою сторону, поворачивался ко мне спиной и мгновенно засыпал. Однако вчера случилось странное. – Поль сглотнул, вспоминая прошедший вечер. – Да, странное... Вчера на площади он едва не бросился на меня с бритвой, и я имею основания полагать, что это был всего лишь результат его принципиального несогласия с моим методом наложения краски.

Поль замешкался, чтобы оттянуть еще несколько секунд.

– Всю ночь и предшествующий ей вчерашний вечер я провел в отеле «Арль», если вас это на самом деле интересует.

– Вы там провели вчерашний вечер и ночь? Значит, я спокойно могу пойти туда и установить это?

– Безусловно.

Комиссар коротко кивнул и что-то записал в вынутом из складок одежды на животе блокноте.

– Еще один вопрос, прежде чем мы войдем в комнату. Мне известно, что Винсент Ван Гог питает слабость к... – полицейский замялся.

– Черни?

– Вот именно. Таким образом, не могло ли случиться так, что вчера вечером после неудавшейся попытки покушения на вас... это тоже можно подтвердить? Я о попытке нападения на вас... Хорошо, хорошо... Я разыщу мсье Донована... Так вот, не могло ли случиться так, что ваш друг отправился глушить душевную боль в забегаловку, где собираются отбросы общества, там хорошенько выпил, после чего подрался с кем-нибудь из-за выпивки или... – речь комиссара струилась как ручеек. – Ну, или из-за принципиального несогласия кого-то с его методом наложения краски... После чего один из бродяг и негодяев выхватил нож и отсек вашему другу ухо. А? Ваш друг мог вчерашним вечером спуститься чуть ниже этого грешного мира?

– Мсье Деланье, – тихо, но уверенно произнес Гоген, – спешу напомнить вам, что речь идет о моем друге, а не о вашем.

– Хорошо, хорошо... Тогда извольте со стороны посмотреть на своего друга. У меня таких никогда не бывало, о чем ничуть не сожалею. – И комиссар, протянув руку, толкнул дверь.

Гоген заранее пообещал себе крепиться, чтобы выглядеть пристойно, но едва он шагнул через порог, прежде невозмутимое лицо его от боли мгновенно превратилось в оскал. Он увидел Винсента. С искренним состраданием Гоген смотрел на его впалые, темные от страданий и голода щеки, щетину, превратившую истощенное лицо в рыжую одежную щетку,

ногти, под которые забились кровь и краска...

Их взгляды встретились.

– Поль... – прошептал Винсент, – увезите меня отсюда...

Не в силах больше сдерживать себя, Гоген скрипнул зубами. Сжимая кулаки так, что в оглушенной до его появления тишиной комнате отчетливо послышался хруст, он подошел к кровати, на которой лежал Ван Гог.

– Что вы сделали, Винсент... Почему я вчера не пошел за вами!

– Это ничего бы не изменило... Увезите меня в больницу, Гоген... Я знаю, мне нужно в больницу... Если для вас хлопотно это, то хотя бы просто соберите мои вещи и, самое главное, передайте Тео готовые картины и наброски... Я прошу вас, Поль, – твердил Винсент под сдавленные всхлипы готового разрыдаться Гогена. – Продайте мои полотна и возьмите деньги себе, Поль... Мне теперь ничего не нужно будет, а Тео пускай приедет и отвезет меня в больницу... Но побудьте рядом со мной до его приезда, прошу вас...

– Вы ели сегодня что-нибудь, Винсент?

– Я уверяю вас, Поль, я сыт...

И только сейчас Гоген понял, что смотрит на пол, на то место, где лежала обгрызенная со всех сторон корка черствого хлеба. Ван Гог хочет есть, дошло до него. Он всегда хочет есть... Потому что никогда не наедался досыта. Он грыз корку, уронил, но не смог повернуться ни для того, чтобы ее поднять, ни для того, чтобы спрятать. Ван Гог голодал, счи-

тая себя недостойным есть хлеб, купленный на деньги, вырученные от продажи полотен Гогена. Картины Ван Гога никто не покупал. Никто... «Рыжий», «Марака» – вот имена, присвоенные ему в Арле...

Поль почувствовал в горле першение. Ему захотелось вскочить, выбить окно – непременно выбить, а не распахнуть, высунуть голову подальше, на улицу, и кашлять до изнеможения.

Открыв глаза, охрипший от немого крика Поль положил ладонь на горячую худую руку Винсента и тихо спросил:

– Вы подарите мне свои подсолнечники, Винсент?

– Они ваши, – и Винсент улыбнулся.

– Мы с Тео позаботимся о вас, Винсент, вам не долго оставаться одному, – жарко произнес Гоген, пытаясь утешить Ван Гога.

– Я не от этого плачу, Поль... У меня ужасно болит голова... Мне больно... Мою левую половину лица раздрает боль... – Морщась и кусая губы, Винсент слегка наклонил голову набок.

Гоген понял, что нужно наклониться, и прижался своим ухом к губам Ван Гога. Через мгновение он услышал:

– Как вы думаете, – шептал Винсент, – есть ли надежда, что меня когда-нибудь кто-нибудь полюбит?..

Поль с силой сжал веки, и капля упала на сплетенные грязные пальцы Винсента.

– Вы встретите свою любовь, Винсент... Вы непременно

ее дождетесь. И не будет человека счастливее вас...

– Сохраните мои подсолнечники... Не забывайте поливать их время от времени...

Предположив, что ослышался, Поль внимательно посмотрел в глаза Винсенту. В них светилась одному ему знакомая улыбка. Ван Гог улыбался так всегда, когда собирался нанести на полотно совершенно лишней, по мнению Гогена, мазок. Всякий раз его глаза теплели, когда он собирался прокрутить меж пальцев кисть. Поль Гоген почти месяц учился прокручивать кисть так же, отправляя Ван Гога за свежими овощами и оставаясь в комнате в одиночестве. Ван Гог выбирал свежие овощи, Гоген в это время, забыв об очередном полотне, крутил кисть. У обоих ничего не получалось.

Шагнув к комиссару и посматривая в сторону потерявшего от слабости сознание Ван Гога, Поль почесал нос и сказал:

– Мое присутствие рядом с ним в этот момент может вызвать новое потрясение. На самом деле мы не очень расположены друг к другу, комиссар... Короче, скоро приедет его брат, а мне позвольте отбыть.

Став невольным свидетелем разговора Гогена с Ван Гогом, комиссар коротко кивнул.

– Комиссар, вы слышали, что сказал Винсент насчет «Подсолнечников»?

– Я слышал, но не вполне понимаю, о чем речь.

– Речь об этой картине, – и Гоген указал рукой на стену комнаты. – Я хочу забрать эти двенадцать подсолнечников

немедленно.

Деланье долго и внимательно смотрел на Гогена. Он смотрел молча и пристально. А после того, как тот открыл прибитую к стене коробку, вынул оттуда деньги, отсчитал половину и сунул себе в карман, перестал его замечать. Поль Гоген ушел из дома. Под мышкой он нес «Подсолнечники» Ван Гога – ту самую картину, которую Винсент писал в тот момент, когда Гоген писал портрет Винсента.

Это была последняя встреча двух великих художников. Никогда более они не увидят друг друга.

Винсент остался в Арле один. Лежал на замаранной кровью кровати и вспоминал собаку, что видел вчера. Ему показалось, что собака следит за ним. Он даже имя ей дал – Собака.

Ван Гог посмотрел в угол опустевшей комнаты. Оттуда, поджав хвост, бросилось к выходу серое животное.

«Она следит», – понял Винсент и почувствовал озноб в груди...

## Глава III

Мобильный телефон коротко звякнул и задрожал. Голландец вынул его из кармана рубашки и поднес к лицу.

«КРИП» – светилось на экране.

Это означало, что его ждут в Комитете.

Он появился на месте через час. Новый жилой комплекс «Академдом» на юго-западе Москвы блистал комфортом. Двести квартир в высотном доме – проще познакомиться с кем-то из австралийцев по почте, чем с жильцом из соседнего подъезда. В подъездах круглосуточная охрана, но и они не знали, чей покой стерегут.

Новые вместительные лифты. Камеры видеонаблюдения. Стеклопакеты. Кондиционеры. Красивый панорамный вид по обе стороны дома. В квартире – два санузла, ванна, душевая кабина с парогенератором. Бойлер. Паркет «массив» и плитка с подогревом. Импортные обои. Встроенные шкафы-купе. Обустроенная таким образом недвижимость мгновенно очаровывала.

Разместить в этом доме организацию с новейшим оборудованием оказалось просто. Через подставных лиц, которых попробуй теперь найди, если бы кто-то попытался это сделать, КРИП оформил покупку пяти трехкомнатных квартир. По одной в каждом подъезде на семнадцатом этаже и по две – на восемнадцатом, над первыми тремя. Потом из «трешек»

стоимостью в полтора миллиона долларов каждая были удалены четыре санузла, три ванны и три душевые кабины с парогенераторами. Невидимый снаружи коридор соединял все три квартиры, и никому даже в голову не приходило, что двенадцать человек, входящих в первый, второй и третий подъезды, – не собственники элитного жилья, а сотрудники самой засекреченной в стране организации.

В распоряжении КРИП находились шесть автомобилей, за каждым из них было закреплено место в подземном паркинге. Машины стояли поодаль друг от друга и для непосвященных казались личными, а не служебными. Время от времени в какую-то из них садился хозяин, и авто выкатывало из подземелья. «Живут же люди», – не единожды восклицали про себя охранники на выезде со стоянки, провожая взглядом шикарные автомобили.

Подмигнув вахтеру по имени Жора и обменявшись с ним рукопожатием, Голландец вошел в лифт. Когда Комитет «вселялся», среди различных моделей поведения с жильцами и охраной сотрудники выбрали одну, не самую приятную для соседей. Первым делом члены КРИП рассорились со всеми, кто живет рядом. «Хозяев» каждой из пяти квартир остальные жильцы ненавидели и на Новый год в гости не звали. Это устраивало, поскольку исключало необходимость приглашать кого-то к себе. Считалось, что в каждой квартире проживала семейная пара. Итого – шестеро. Еще шесть человек считались жильцами двух двухкомнатных квартир

на восемнадцатом этаже, и от них соседи тоже старались держаться подальше.

Таким образом, КРИП занимал площадь в семьсот квадратных метров и имел два этажа. На нижнем располагались офисы экспертов, на верхнем – офис президента КРИП и лаборатория.

Поднявшись на семнадцатый этаж, Голландец даже не повернулся на «здравствуйте» соседки с мопсом на руках и отпер дверь.

– Хам, – услышал он, запираясь изнутри.

Прихожая была единственным помещением, которое в каждой из пяти квартир напоминало семейное гнездышко – натяжной потолок легкомысленного цвета, шкаф-прихожая, коврик. Это все, что мог охватить взор людской, брошенный со стороны лестничной площадки. На этом домашняя обстановка заканчивалась. Голландец распахнул дверь из прихожей и оказался внутри огромного помещения, разделенного стеклянными перегородками. Напоминающий соты офис экспертов КРИП кипел от неутомимой работы сотрудников. Обычно там находилось не более пяти-шести человек, которые были заняты обработкой информации или подготовкой документов. Президент, невысокого роста, тучный, с обвислыми щеками мужчина пятидесяти восьми лет, всегда был у себя с половины девятого утра до шести часов вечера. Когда того требовала необходимость, он приезжал в «Академдом» в любое время суток и иногда даже жил в Комитете по

несколько дней. Наверху для него была оборудована спальня для отдыха. Точно такая же находилась и этажом ниже, для экспертов, которые были уже не в силах добраться до дома.

Кивая всем, кого встречал на пути, Голландец добрался до своего «офиса» и опустил в кресло. «Ирисы» – они не должны были всплыть даже в виде шутки для других сотрудников этой организации.

– Голландец, хай-фай! – приветствовала его Клара. Лучшего специалиста по маринистам Голландец не знал. – Бегом к боссу, тебя ищут.

– А что случилось?

– Яйцо Фаберже ищут.

– В офисе?

Она рассмеялась и показала пальцем наверх. Ее это не касалось.

– Босс рвет и мечет. Яйцо у какой-то дивы из Одинцова увели.

– Для подобных проблем они, яйца, и создавались.

Он поднялся по лестнице и вошел в зал с двумя десятками стульев.

– Голландец, мы вас заждались. – Президент снял очки и принялся тщательно протирать стекла чистым носовым платком.

– Виноват.

Уже давно президент был прооперирован в клинике Федорова, уже давно лишился обременительной необходимости

сти носить в кармане футляр, видел хорошо, но привычки у сильных натур сильнее самих натур. Чтобы чувствовать себя уверенно, он заказал очки со стеклами без диоптрий.

– Итак, лично для вас повторяю. В милицию обратилась Черкасова Наталья, живет в Одинцове. В заявлении указала, что у нее похищено яйцо Фаберже.

– Все ювелирные изделия производства Фаберже, согласно реестровым данным, находятся на своих местах, – перебил Манкин. Вообще-то он ничего не должен был говорить, поскольку был не экспертом, к которым обращался сейчас глава Комитета, а лабораторным аналитиком. По большому счету ему нечего было делать на совещании, но он любил «присутствовать».

«Все картины Ван Гога, согласно реестровым данным, как мне казалось, тоже находятся на своих местах», – подумал Голландец и закинул ногу на ногу.

– Закройте рот и наденьте шапку-невидимку, – посоветовал Манкину президент. Надев очки, он тут же забыл о Манкине. – Так вот, необходимо узнать, существовало ли яйцо на самом деле. Если да, то как оказалось у Черкасовой. Она оценила его в пятнадцать миллионов рублей.

– Наверное, это настоящее яйцо Фаберже, – язвительно обронил Голландец. – Потому что любой сделанный его фирмой экземпляр стоит не меньше пяти миллионов долларов.

– Все выяснить, – угрюмо произнес президент. – Ни с кем не пересекаться. Если нарветесь на ментов или ФСБ – ваша

проблема. Проверьте еще раз реестры и Черкасову. Быть может, никакая она не Черкасова. Если яйцо на самом деле было, я хочу, чтобы оно лежало здесь! – И он ткнул пальцем в поверхность стола.

Гремя стульями, эксперты потянулись к выходу.

– Голландец! – раздался властный голос президента. – Я хочу, чтобы вы приняли самое активное участие в поисках.

– Ну, только если вы хотите! – отозвался Голландец и делано подобострастно улыбнулся.

– Упрямец, – пробормотал президент.

Голландец покинул квартиру и направился к лифту.

\* \* \*

До двадцати двух лет Голландец не произнес ни слова.

Измощенного и полумертвого от голода, его нашли в лесу грибники. С зажатым в руке объединенным пучком костяники он лежал на земле и со свистом дышал, из последних сил втягивая воздух сквозь распухшее горло. Изъеденное насекомыми лицо распухло и отливало неестественным блеском. На нем невозможно было найти ни глаз, ни носа. Тело, наоборот, напоминало тощую вязанку хвороста. Лишь потрескавшиеся губы и впалый, перепачканный землей живот чуть вздрагивали, когда мальчишка делал вдох.

– Если он не умрет через четверть часа от анафилактического шока, – сказал задольский врач, с треском сдирая с се-

рой детской ручонки манжету тонометра, – то мы рискуем лишиться паренька из-за большой потери крови.

Он не умер. Кто-то невидимый стоял у стола, когда ему разрезали горло и вставляли в него трубку, и невидимый этот вмешивался трижды в отчаянную борьбу между Жизнью и Смертью. Первый раз, когда у мальчишки остановилось сердце и нужно было просто выключить аппарат искусственного дыхания, он остановил руку врача, заставив его пробормотать: «А, черт с ним, посмотрим еще...» Потом, когда медсестра перепутала емкости с плазмой и мальчишке едва не ввели третью группу крови вместо первой. И, наконец, невидимый кто-то оторвался от кровати мальчишки и, почти касаясь потолка, полетел в ординаторскую, чтобы выбить из-под подбородка задремавшего врача руку. Качнув головой, доктор вспомнит, что уже два часа не заходил в палату к мальчишке. Он бросится по коридору, увидит спящую сиделку и нудно зудевший в одной тональности аппарат. Мальчишка уже пять минут находился в коме, но на шестую сердце его шевельнется. словно раздумывая, есть ли смысл выполнять эту бесполезную работу, оно сожмется. Кровь прильет к голове паренька, тот широко открытым ртом схватит воздух и первое, что почувствует, аромат леденца. Он не мог открыть глаз, но все слышал. И леденцовая свежесть обожжет его воспаленную кожу, когда кто-то, дыша ему прямо в лицо, скажет:

– Ну, конопатый, теперь ты жилец!

И этот невидимый кто-то, постояв еще с минуту у кровати, исчезнет.

И каждое утро теперь начиналось с того, что мальчишка чувствовал запах леденцов. Апельсиновые, яблочные, вишневые запахи проникали в его мозг и превращались в цвета. Смешивая их, он рисовал ими лицо того, кого не видел.

На третий день сквозь прорези глаз на распухом лице мальчишка впервые увидел свет. Пронзительно-желтый, он растопил однотонность леденцовых оттенков, и мальчишка улыбнулся.

– Хорошо жить, правда, старина? – услышит он на день пятый и увидит лицо человека, забравшего его с того света, и ощутит, как меж губ его протиснется маленькая, твердая конфетка. Забрав ее языком, мальчишка почувствует, как рот его наполнится слюной, и в голове облачком шевельнется розоватый вкус.

– Клубничный, факт, – скажет доктор. – А я, брат, люблю яблочный. Он набивает оскомину, и желание покурить отступает.

Доктор имел достаточно ясное представление о леденцах. И по неизвестной причине делился своими знаниями с юным пациентом. Так мальчишка узнал, что розовый цвет не отбивает желание курить, а скорее его усиливает. Зеленый располагает к размышлениям, а оранжевый, то есть апельсиновый, улучшает настроение.

– Я вот что тебе скажу, дружище, – произнес доктор, за-

ведя его в кабинет перед выпиской. Не зная имени пациента, а потом, узнав, но так и не сменив привычку именовать его иначе, он сел в кресло и взял паренька за плечи. – Кто теперь скажет, когда ты заговоришь, верно? И заговоришь ли вообще. Но я верю, что когда-нибудь это обязательно случится. – Подумав, он открыл дверцу письменного стола и вынул оттуда перетянутый бечевкой пакет из оберточной бумаги. – Часто люди говорят то, что потом хотели бы поскорей забыть. У тебя есть преимущество. Ты никогда не скажешь лишнего. Возьми.

Развернув пакет, мальчишка увидел новые краски и несколько кисточек.

– А вот это спрячь до поры и никому не показывай. – И мальчишка, наклонив голову, увидел, как в нагрудный карман его рубашки с едва слышимым шорохом опустилась фиолетовая купюра. – Я видел, как ты карандашом рисовал в тетради. Вот и подумал – а вдруг из тебя выйдет художник? А если и не выйдет, не печалься, дружище. Я вот, к примеру, совсем рисовать не умею.

Похлопав его по груди, по карману, он добавил:

– Потрать только тогда, когда уже не будет другого выхода. – Доктор улыбнулся и развернул его к двери. – Я знаю, ты меня понимаешь. Ты все понимаешь. Просто удивительно, что ты понимаешь все...

Сбылось. В пятнадцать лет, после долгих пересудов педагогов, он был переведен из детского дома в Задольское худо-

жественно-графическое училище. А жить его забрала к себе старуха-уборщица. Поскольку мальчишка никому не был нужен, то его долго не отдавали ей. Но потом все как-то само собой утряслось, ответственные люди подписали нужные бумажки, и мальчишка оказался на окраине Бутурлиновки, в коммунальной квартире, где бабке принадлежали две смежных комнаты. Утром он завтракал молоком с хлебом и, собрав в портфель тетради и альбомы, через весь город спешил на улицу Ленина.

– Он совершенно не предрасположен к письму, – дымя папироской, жаловалась коллегам во время перемен педагог по рисованию. – Он сваливается в абстракцию, даже когда сидит на стуле напротив античной головы. А уж когда дело доходит до пленэра...

Она была абсолютно права. Когда дело доходило до выхода с мольбертами на природу, мальчишка словно терял голову. Не замечая смеха сокурсниц, которых было куда больше сокурсников, он писал картины по своему разумению. Потом выслушивал претензии педагогов, но продолжал рисовать так, как видел.

– Голландец! – смеясь и бросая на стол в учительской рисунки мальчишки, говорила педагог по художественному мастерству. – Полные визуальной деформации картинки. Кривые мосты, покосившиеся часовни, серые с фиолетовыми подпалинами деревья – уж я и не знаю теперь, как через несколько лет будут выглядеть его дипломные работы.

После этого разговора прошло два дня, и директор училища, выбрав свободную минуту, попросил Голландца зайти к нему в кабинет. Перепачканный красками, в нелепой, не по росту одежде, вызывавшей смех у сокурсников и жалость педагогов, он явился к назначенному сроку.

– Сядь туда, – приказал директор, указывая в угол, где стоял мольберт с натянутым на подрамник чистым листом бумаги.

Захватив со стола несколько карандашей, он протянул их Голландцу.

– Мне говорят, если предложить тебе масляные краски и акварель, ты выберешь последнее. Почему ты любишь акварель?

Потом, словно вспомнив, что ответа не дождется, он зашел за мольберт и оперся на него, чтобы видеть мальчишку.

– С ней проще обращаться?

Голландец отрицательно покачал головой.

– Нет... Значит, через них тебе лучше удастся передать свое настроение? Поэтому? – И директор удивился, увидев и на этот раз отрицательное покачивание головой. – Вот как...

Обойдя мольберт, Голландец встал у окна.

Коробка акварельных красок стоила четырнадцать копеек. Коробка масляных – три рубля. Вот почему.

Он рисовал с утра и до поздней ночи. Ему постоянно не хватало бумаги, и он крал оберточную в гастрономах. Комната, в которой он жил, была завалена исписанными крас-

ками бумажными лохмотьями. Высохшие и покореженные, они доставляли старухе немало хлопот. Но не случилось ни разу, чтобы она сунула их в мусорное ведро или отчитала Голландца за перепачканные стены. А ему постоянно нужны были краски. Почти все деньги, что получал в училище, он тратил на них. И лишь изредка, когда было уже невмоготу, он сжимал в запотевшей ладошке гривенник и на углу Ленина и Светлой покупал в кондитерской пригоршню леденцов. Услышав однажды их запах, он уже не мог без них. Но выбирал все-таки краски, когда в руке было не десять копеек, а четырнадцать...

А еще он любил, когда на видимый ему предмет ложилась вода. Тогда предмет оживал, в нем расцветали чувства, хотя думал мальчишка, конечно, не этими словами. Он вообще ничего не думал на этот счет. Он просто видел, как еще не существующие на его бумаге предметы приобретают другой смысл, когда их покрывает вода.

– Мне говорят, что ты неспособен к рисунку грифелем и не в состоянии перенести на бумагу или холст подлинные очертания и цвет. Ты можешь доказать мне обратное?

Шестнадцатилетний Голландец поежился. Разговор на ту же тему, но в иной интерпретации, он уже слышал утром этого дня, когда заносил в преподавательскую журнал группы.

– Пойми, – не отрывая взгляда от покачивавшейся за окном ветки клена, сказал директор голосом, которым обычно отвечали Голландцу в кондитерской, что леденцов нет, – ты

ученик с... проблемами. Я до сих пор не понимаю, как руководству детского дома удалось уговорить меня принять тебя в училище... Окончив его, ты должен будешь стать учителем рисования и черчения. Но я просто не представляю, как человек с проблемами речи... Как немой человек может им стать. Есть шанс устроить тебя после выпуска художником-оформителем, но... Но могу ли я тратить на твое обучение средства, когда ты не умеешь... рисовать?

Голландец чувствовал, что разговор этот для директора в тягость. Хотя думал он, конечно, другими словами. Ему было стыдно, что на него, немого, люди тратят средства страны. Он бы и здесь думал другими словами, но старуха вчера говорила именно так. Плакала и весь вечер твердила, что теперь, видать, его отчислят, а это значит, что ей придется отказаться от его содержания. И это скверно, потому как, во-первых, ей не будут приплачивать за его проживание, но куда хуже, что ей придется расстаться со второй комнатой, удержать которую она рассчитывала до самого выпуска Голландца из училища.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.